

БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ
Для детей среднего и старшего возраста

А. ГАРРИ

ПО СЛЕДАМ
АМУНДСЕНА

ОБЛОЖКА и РИСУНКИ
М. АСКИНАЗИ



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
МОСКВА 1930 ЛЕНИНГРАД



Типография Изд-ва „Молодая
Гвардия“, Ленинград, В. О.,
5 линия, 28. Заказ № 3973.
Главлит № А-63014. Тираж
7100. Печ. л. 5.



65811 1957-58 г.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДОНА ДЕТСКОЙ КНИГИ
ДЕТГИЗА



Статформат Бз 125 X 176.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

I. РОМАНТИКА АРКТИКИ

Сквозь круглое окно моего кабинета в „Известиях“ видны службы Страстного монастыря и огненная вывеска „Рабочей Москвы“. Внизу, по переулку, ходят трамваи, и я вижу только их крыши и светящиеся зеленые стекла вентиляции. Всех этих деталей я раньше, конечно, не замечал, но сейчас почему-то хочется думать именно о таких мелочах.

Только-что ушел Чухновский. Мы распрощались для того, чтобы вновь встретиться в Архангельске. Этот обаятельный человек имеет на-редкость мало общего с моим представлением о полярных летчиках. Находя-

щиеся в Москве корреспонденты американских газет, узнав о том, что летную часть советской спасательной экспедиции будет возглавлять Чухновский, буквально оборвали мне телефон расспросами о его внешности. Одна из корреспонденток особенно добивалась, какого цвета у него глаза и когда он первый раз был влюблен. Глаза у Чухновского — голубые; когда он был первый раз влюблен — не знаю, может быть, он и сейчас влюблен. Во всяком случае, вид у него чрезвычайно мечтательный, и как-то трудно представить себе этого человека за рулем высоко над туманом и полярными льдами.

Чухновский ушел. Когда люди, желая выразить недовольство глупым неустройством своей жизни, мечтают о новых путешествиях, о далеких странах, они говорят: „Ах, как бы уехать куда-нибудь, хоть на северный полюс!“ Ну вот, и я уезжаю на северный полюс, и, хотя все уже сделано и корабли сожжены, до сих пор не могу освоиться со своим положением.

В соседней комнате — непрерывная трескотня пишущих машин. Американские корреспонденты пришли со своими переводчиками и жадно глотают еще мокрые гранки завтрашнего номера „Известий“, спеша передать за границу подробности подготовки советской спасательной экспедиции. В редакции, в Осоавиахиме, в Управлении воздушных сил, во всем городе какое-то напряженное настроение; быть может, мне это только кажется, и напряженное настроение — у меня, а все остальные совершенно спокойны.

Вот сидит против меня корреспондент итальянских газет Сесса. Этот чрезвычайно уютный человек с па-

фосом говорит мне о великих страданиях, которые в настоящее время переносят люди с дирижабля „Италия“, и уверяет меня, что помощь им нужно оказать как можно скорее, что Советский Союз, как светоч мировой культуры, еще раз покроет себя неувядаемой славой. От Нобиле уже около двух недель нет никаких сведений. Сесса, агитируя меня, нервничает, и виден в его глазах невысказанный вопрос, гораздо более важный, чем все то, что он сейчас говорит: „Ребята, неужели же вы на самом деле вот так — только пошумите и ничего не сделаете?“

Знакомые, друзья, с которыми я встречаюсь на улице, останавливают меня, хлопают по плечу и говорят:

— Ну, что, едете спасать Нобиле? Ах, как я вам завидую!

В конечном итоге я начинаю сомневаться в том, что положение мое уже настолько завидно. Здесь сейчас весна, поздняя московская весна, промелькнувшая почти незаметно и незаметно перешедшая в холодное дождливое московское лето. Но все-таки впереди — солнце, тепло. Июнь, июль, август, переполненные дачные поезда, летняя суeta изрытых московских мостовых, пыль и праздная толпа летней улицы. Каждый человек к концу зимы с нетерпением ожидает лета. Каждый человек, которого не удовлетворила весна, жаждет теплых дней, травы, чистого воздуха на лоне природы. Я думаю, это мучительное чувство обурекает жителей всех населенных пунктов земного шара. Передо мною на столе лежит книга о полярных путешествиях. Над вечными льдами, сложенное в туманной муфте, тускло

светит солнце. В водяных трещинах купаются белые мохнатые птицы. И все это вместе взятое изображает полярное „лето“, и туда мы едем. Значит, лета не будет.

Последний день перед отъездом уходит на лихорадочные приготовления. Казалось бы, московская кооперация, всегда и всюду опаздывающая с сезонными товарами, должна была бы в начале лета бойко торговать зимними вещами. Однако нигде в магазинах нет ни фуфаяк, ни шлемов, ни шерстяного белья. Приказчики, изумленные требованием зимних вещей и сбитые с толку сообщением, что мы едем на полюс, смотрят на нас как на сумасшедших. Последний безумный день в Москве! Я накупил целый ряд вещей, которые вряд ли когда-либо смогут мне пригодиться: какие-то фляжки, складные рюмки, компас, охотничий нож и пояс какой-то особенной конструкции.

На вокзале было очень много народа, как всегда, суетливый фотограф и тренога штатива, которая никак не хотела стоять на месте. Вспышки магния собрали вокруг нашего вагона почти все население поезда и всех провожающих. Заграничные корреспонденты обязательно хотели сняться возле вагона с надписью „Москва — Архангельск“. Первый звонок! Агенты транспортного ОГПУ отгоняют от нашей группы какого-то небольшого роста человека, в кожаном костюме, который обязательно хочет пробиться к нам. Ему говорят:

— Уйдите, товарищ! Видите, люди едут на Северный полюс, а вы тут мешаете!

Человек в кожаном костюме пожимает плечами и лезет в свой вагон. В пути мы с ним познакомились;

его представил нам начальник поезда. Оказался он знаменитым борт-механиком Грошевым, помощником Бабушкина, тем самым Грошевым, который, входя в состав нашей малыгинской экспедиции, через несколько недель покрыл неувядаемой славой знамя советской авиации. Этот скромный человек, которого на перроне московского вокзала даже не пропустили к нам, впоследствии восемнадцать раз летал над вечными льдами в поисках Нобиле и Амундсена. Мне тоже пришлось летать с ним.

*

Каждый город имеет свое лицо. Лица русских городов особенно разнообразны. Архангельск — это прежде всего море; именно море, а не река Двина, на которой он расположен.

Для того чтобы с вокзала попасть в город, нужно сесть на пароход и переехать через Северную Двину. Пароход этот почему-то называется „Москва“; он похож на старого генерала, продающего папиросы где-нибудь в Константинополе или Белграде. Когда-то и он, должно быть, совершал большие плавания. Но сейчас это почти полный инвалид, годный лишь на то, чтобы таскать пассажиров и разную кладь с берега на берег. Машины „Москвы“ хрипят и кашляют по-старчески, весь он трещит и стонет, когда пришвартовывается к пристани. Мне пришлось довольно много плавать в разных морях, но именно при переезде через Двину я впервые ощутил совершенно явственный страх.

У вокзала, на пристани, болтая босыми ногами, в живописных позах сидели и валялись мальчишки-

грузчики. Двое из них с необычайной легкостью взвалили на плечи тяжелые ящики с кино-пленкой, — имуществом оператора Валлентея. Мне думается, что в каждом из этих ящиков было не менее трех пудов.

В канаве, на солнцепеке, медленно умирали три черных слепых щенка. Тосклив и бесконечно назойлив был их жалобный писк. Пока „Москва“ постепенно наполнялась пассажирами и разной кладью, угрожающе оседая в воду, двенадцатилетний Колька рассказывал мне о своей работе и о своей семье.

От Кольки пахнет водочным перегаром, волосы его спутаны, в них солома и угольная пыль. Колька задрал кверху рубаху и греет в песке свой голый живот. Кроме вихрастой головы с голубыми глазами, в нем уже нет больше ничего детского. Это заправский мужчина.

— Морем мы кормимся, — говорит Колька, — если б моря не было, совсем бы плохо нам было. Вся наша семья с моря живет. Был у меня брат, так тот работал на земле; его отец выгнал, — уж слишком шибко он пил. Брату было 18 лет, когда он захотел вступить в артель землекопов, которые осушали тундру. Его не захотели принять, говорили — молод еще. Тогда брат мой рассердился и ночью украл у артели сваю, затащил ее в лес и бросил в болото. А в свае этой около полутонны было. Ну, брат и говорит тогда землекопам: „Один я эту сваю могу обратно притащить; вам ее и не поднять. А если вы меня в артель не примете, я вам ее во-век не притащу, — покупайте новую“. Ну, приняли, конечно.

Колька презрительно плюет через плечо. Он лично в человеке уважает только физическую силу, потому что на море это — главное.

Вечером над Двиной в белесом тумане садилось удивительно красное солнце. Зеркальная гладь реки была черна, как деготь, и только изредка к борту нашей шлюпки докатывалась ленивая зыбь — след от проходящих мимо судов. Серый, спокойный свет благотворно действовал на нервы, утомленные долгим днем волнений и хлопот. Нас было пять человек на шлюпке, пять человек, едущих спасать Нобиле. Матрос с „Малыгина“, вытянув босые ноги вдоль скамьи, наслаждался мягкой прохладой вечера. Изредка совсем близко от нас пролетали чайки. Несколько саженей летели они над самой водой, задевая пухом поверхность и оставляя узкие полосы, как след от ногтя на черном лаке рояля. Начальник экспедиции, проф. Визе, рассказывал нам об Арктике, и то, что он говорил, казалось дивным и невероятным, как сказка.

Северный полюс перестал быть неразгаданной тайной. На том месте, где по воле людей скрещиваются меридианы этими же людьми начерченных карт мира, генерал Нобиле сбросил флаг фашистов и крест католической церкви. Год тому назад на этом же самом месте были сброшены флаги Соединенных Штатов, Норвегии и Швеции.

Признаков человеческого честолюбия уже на полюсе не существует. Вечные льды утащили эти жалкие тряпки в неизвестные края. Флаги четырех государств, пожелавших закрепить за собою условную

точку на глобусе, носятся в бесконечных ледяных пространствах.

Потом, через много лет, небрежный прибой выкинет их на безлюдные берега Гренландии, и там они будут лежать десятилетия вместе с обломками судов, плававших по Ледовитому океану еще триста лет тому назад. Туда же прибой принесет и изуродованный труп Мальмгрена.

Северный полюс есть ничто. Бездонная пропасть воды, над которой плавают льды. Люди изучают маршруты движения полярных льдов, потому что для человека во всякой неразгаданной тайне есть необъяснимая прелесть и бесконечный источник дерзаний. Многолетние льды еще не разгаданы. Отдельными глыбами и громадными полями в десятки и сотни миль они носятся по необъятным просторам Арктики. Каждую весну верхний слой льда подтаивает. Он приобретает другую окраску, становится плотнее и крепко садится на пласты старых льдов. Битый многолетний лед в разрезе напоминает яблочную пастилу. Только сверху он сохраняет свой ослепительно яркий свет. Нижние слои льда темнеют и становятся грязными так, как-будто ими пользовались люди. Многие годы непрерывно в этих загрязненных льдах развивается жизнь. Самый грязный цвет их — это миллион живых организмов, водорослей, живущих только во льду и умирающих, когда температура подымается выше нуля.

Тайны этих водорослей еще не разгаданы, точно так же, как и пути, по которым волна Ледовитого океана из года в год дрейфует многомиллионные ле-

дяные поля. Люди уже давно потеряли надежду преодолеть стихию. Они брали с собою запасы на несколько лет, вмерзали в ледяное поле и двигались вместе с ним по просторам Арктики, надеясь в следующий раз самим найти туда дорогу. В настоящее время по маршрутам ледяных дрейфов носятся десятки судов. Некоторые из них плавают со льдами десятилетия. Люди давно умерли, перегрызя горло друг другу в безумии голодной агонии. Замерзшие трупы их валяются на загрязненном льду, рядом с покосившимся на бок судном. Много раз в год лед сжимает остатки этого человеческого жилища, выламывает из него отдельные куски. Норвежские рыбаки, которые на парусных ботах поднимаются выше восьмидесятой параллели, рассказывают, что им иногда удается видеть далеко на горизонте эти призрачные суда мертвецов.

Как и у моряков теплых океанов, у полярных промышленников есть свои легенды о летучем голландце. Корабли погибших исследователей бесконечные годы мчатся по ледяной пустыне со своим мертвым экипажем. Ледяная пустыня не сразу выпускает свою добычу. Лишь раз в несколько лет к берегам Свальбарда или Гренландии в полярное лето прибывает остатки человеческих трупов и кораблей.

На Новой Земле есть становище самоедов. Там руками людей, которые слишком хорошо знакомы с полярными льдами, чтобы испытывать их терпение, воздвигнут замечательный памятник людям, погибшим во льдах. Этот дом — убежище для полярных мореплавателей, потерпевших крушение. Он весь облицован

досками и кусками жести, на которых полусмыты волной или истерты трением льда названия погибших судов. Эти обломки человеческих дерзаний прибиты к берегам Новой Земли в течение многих лет. По этим реликвиям можно изучать историю Арктики.

Далеко в средние века уходит история борьбы человечества за Северный полюс. Англичане, шведы, норвежцы датчане и другие начиная с XVI века, стремились к разрешению проблемы северо-восточного прохода, Великого северного пути через полярные льды в богатые страны Дальнего Востока. Трудно найти общую характеристику для пионеров полярных исследований—как для тех, которые гибли, не достигнув цели, так и для других, которые возвращались обратно с разбитыми кораблями и разбитыми надеждами. Герои и мученики, пираты-завоеватели, именитые купцы, мелкие жулики и крупные аферисты... Северный ледовитый океан, величественная гробница человеческих жизней, одинаково обращался с теми, которые пытались нарушить его покой.

Иностранцы плавали на больших парусных кораблях. Корабли затирались во льдах, снасти покрывались толстым ледяным покровом, потом лед лез с палубы на палубу, ломал мачты и рубки, рвал такелаж. Обезумевшие от ужаса люди рубили наступающий лед топорами, били его баграми, рвали его порохом. Потом судно кренило на бок, и в течение нескольких часов оно превращалось в груды щепок. Треска деревянных частей не было слышно из-за оглушительного грохота ломающихся ледяных полей.

Русские поморы плавали иначе. Спасаясь от жадных чиновников, которые заезжали на лошадях и оленях на далекий север за податью для московских царей, поморы уходили в океан на гребных, редко парусных шлюпках по восемь — десять человек в каждой. Когда шлюпки затирало льдами, поморы вытаскивали их на поверхность, тащили волоком по льду, несли на руках и в конце концов, раньше или позже, шли ко дну в тяжелых тюленьих сапогах вместе с обломками шлюпок, в которых застревали маленькие голубые льдинки. Поморы искали новых земель, новых людей, зверя.

А иногда бывало иначе. Судно или шлюпку выбрасывало ледовым штормом на сибирский берег. Самоеды били пришельцев топорами из мамонтовой кости, стрелами, кусками каменных скал. Потом резали их трупы на куски, и разбрасывали по ветру для того, чтобы будущей весной гуще шел зверь.

Я видел русские кресты на таких головокружительных вершинах величественных островов Ледовитого океана, что казалось совершенно непонятным, как спустились обратно люди, которые эти кресты ставили. Я видел эти кресты на бесчисленных норвежских и английских картах Арктики. По этим крестам полярные мореплаватели более позднего времени определяли свое местонахождение. На юго-восточном Шпицбергене, в Стор-фьорде, на одной из вершин земли Эдге, есть целое кладбище из таких восьмиконечных старообрядческих крестов. Говорят, что надписи на них уже стерты ветрами. Но сами кресты стоят и будут стоять еще долгие годы, ибо в этих широтах дерево не гниет;

здесь нет микробов. Там же, на земле Эдге, у подножия гигантского глетчера стоит громадный деревянный сруб, временное жилище, в котором зимовали поморы и которое они оставили готовым к услугам других путешественников, терпящих бедствие, как и они. Как говорит английская лоция, после русских в доме этом жили только иностранцы: поморы случайно сюда больше не заходили. Норвежцы, англичане, шведы, вероятно, искали это убежище так, как корабль, идущий в шторме, ищет маяка, который должен дать ему спасение. Недаром стены дома испещрены благодарными надписями на многих языках. Любители русской архитектуры XVII века, вероятно, смогли бы написать об этом арктическом жилище целую монографию. Но не в этом основная достопримечательность наследства поморов: маяк спасения на семьдесят пятом градусе северной широты для меня выглядел прежде всего символом международной солидарности завоевателей Арктики.

Все то, что рассказывал нам проф. Визе в тот памятный вечер на Двине, конечно, оправдалось: полярные льды были именно такими; но как мало все же можно описать их человеческими словами. И не только полярные льды! Люди, замечательные люди, которые работают и умирают во льдах Арктики, коллектив этих людей и каждый из них в отдельности представляют собою бесконечную тему для изучения. Тип современного полярного мореплавателя уже не интернационален. Хищные американцы попрежнему выходят в море с запасами табаку и алкоголя; этим товаром — продуктом европейской культуры — они отравляют при-

брежных самоедов, за кучу яда они выменивают кучу мехов.

В Архангельске, в Городском саду, я видал норвежцев, вернувшихся с промыслов, где они пробивались в погоне за тюленем сквозь полярные льды на утлых деревянных суденышках. Эти люди моря-пришли в ресторан в праздничных городских костюмах, стуча по гравию сада тяжелыми подкованными сапогами. На них было все городское — соломенные шляпы, пестрые галстуки и крахмальные воротники. Но сапоги, тяжелые непромокаемые сапоги из воловьей кожи, вымазанные топленным медвежьим салом, сразу же бросались в глаза, и видно было, что галстук и шляпа — это не обыденное, чужое, а сапоги, подкованные гвоздями — их собственное, родное, то, в чем они трудятся и умирают.

Норвежцы вошли в ресторан тесной кучей, плечо о плечо, ни на минуту не теряя соприкосновения друг с другом. Один из них, собственник шхуны, воспользовавшись теплой погодой, привез с собой в Архангельск семью — жену и двух детей. Женщина с детьми села за отдельный столик далеко от мужчин. Им подали прохладительные напитки и какую-то легкую пищу.

Мужчины в течение нескольких минут заставили свой стол мутной стеной зеленых пивных бутылок. Кряхтя, вынимали они из заднего кармана брюк плоские флаги со спиртом. Вероятно, точно таким же жестом вынимали они их и там, у себя на судне.

Мужчины говорили о море, о тюленях, о льдах. Кругом суетились подобострастные ко всякому ино-

странцу официанты, гремела посуда, звенели бутылки, и мне не удалось расслышать точный смысл произнесенных слов. Норвежцы говорили, как всегда, вполголоса, близко наклонившись друг к другу. Даже здесь, в чужой стране, с чужим языком, они никому не хотели доверить тайн своего ремесла. Лица их покраснели, и, видимо, беседа была очень оживленной. Над столиком вились густые клубы трубочного дыма, женщина и дети ели пирожные, запивали их лимонадом, и, заглушая доносившийся сквозь раскрытую дверь запах кухни, до меня дошел терпкий запах моря, шедший от сгрудившихся под столом норвежских сапог.

Мне рассказывали, что такие норвежцы выходят в море целыми семьями на гребных шлюпках, все, начиная от седобородого деда и кончая внуком, который только пять лет как научился плавать. В туманных льдах Белого моря они бьют тюленей, терпя холод, голод, отказывая себе в лишнем сухаре, в лишнем глотке спирта. Через два года такая семья заводит себе моторный катер и небольшой котел, приспособленный для топки тюленьего сала. И так они ходят в море из года в год целыми семьями, пока на берегу изумрудного фьорда не вырастет как по волшебству белый домик, крытый цветной черепицей, огород и сад — лирика мещанского благополучия. Дети болеют ревматизмом, руки их пухнут от кровавых ссадин, но где-то там, в Тромсе, в банке рыбачьих артелей, растет текущий счет и создается благополучие семьи. Такова история всех городов северного норвежского побережья.

II. ЛЮДИ С „МАЛЫГИНА“

Было холодное весеннее утро — в Архангельске лето наступает поздно, — когда мы впервые вступили на борт „Малыгина“. Предварительно нам пришлось бесконечно долго ехать на трамвае к Северной пристани, что казалось совершенно невероятным, принимая во внимание скромные размеры города. „Малыгин“ встретил нас густыми облаками угольной пыли, лязгом кранов, полной достоинства суетой матросов дальнего плавания и той специфически тяжеловесной бранью, которой обычно сопровождается всякая работа на море. Вся палуба судна была загружена ящиками, корзинами и тюками. Сверху при помощи кранов спускали громадные металлические бочки с бензином. Артель грузчиков с большими предосторожностями перетаскивала запасные части для самолета Чухновского, который должен был прилететь из Ленинграда через сутки. Сейчас даже смешно вспоминать, как через несколько дней мы в течение двух—трех часов выгрузили обратно на пристань многопудовое имущество Чухновского, когда выяснилось, что с нами летит не он, а Бабушкин.

Дни в Архангельске прошли в такой невероятной суете всяческих приготовлений, что я не запомнил даже как следует города. Реку зато я узнал хорошо. В эти дни на море было очень спокойно, и Северная Двина обволокла корпус судна зеркальной гладью. Архангельск снаряжал не первую полярную экспедицию за последнее десятилетие, однако это была первая советская

экспедиция, и поэтому интерес населения к нам был очень велик. Начальника экспедиции, проф. Визе, буквально осаждали просьбами о разрешении принять участие в плавании. Конечно, всем этим добровольцам, вне зависимости от их ледового стажа, пришлось отказаться.

Я плохо помню многотысячную толпу, провожавшую нас на пристани, и приветственные речи, которыми представители архангельских властей тепло провожали людей, собирающихся в случае надобности рискнуть жизнью. Последние сутки перед отплытием мы провели как в угаре. Телеграфная контора Архангельска вынуждена была нанять сверхурочных работников и даже на время прекратить прием частных депеш из-за перегруженности проводов телеграммами, связанными с экспедицией. Значительная часть этой нагрузки относилась, конечно, за счет пяти журналистов, входящих в состав экспедиции и считавших необходимым освещать для печати малейшую деталь подготовительной работы. В те дни отдельные моменты этой работы казались нам делом решающего значения. Впоследствии, во время плавания, мы, конечно, выработали совершенно другой метод подхода к имеющемуся в нашем распоряжении материалу.

Капитан Чертков, одетый в парадную форму, в новой фуражке, забрался на капитанский мостик и стал возле рупора. Торжественное выражение его лица в момент отчаливания показалось мне почему-то немного комичным. Точно такое же выражение было у него, когда мы через два месяца возвращались в Архангельск, но

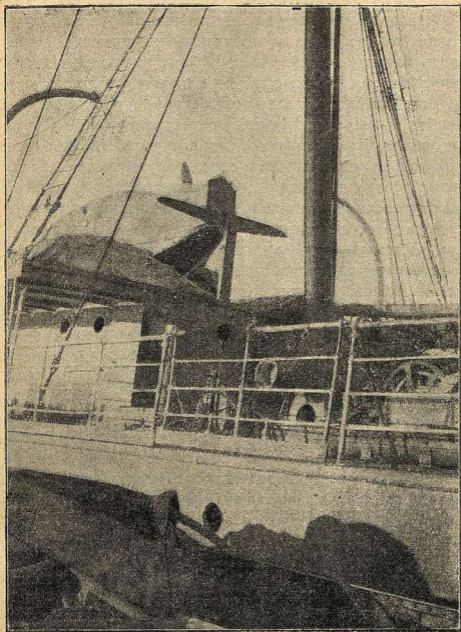


Капитан Чертков.

тогда, я думаю, и я был заражен его торжественностью.

Оркестр в последний раз сыграл „Интернационал“. Вахтенный штурман велел отдать концы, и „Малыгин“, описав большой круг по середине реки, повернул носом на север. В первую ночь никто из нас не спал. Даже матросы, сидя на еще не вполне прибранных ящиках авиоимущества, пристальным взглядом провожали уходящие вдаль берега.

Мы шли на Мурманск для того, чтобы забрать летчика Бабушкина, догрузить уголь и принять на борт недостающее количество авиационного масла. На судне медленно устанавливался наш быт, определялись часы обеда и ужина, люди размещались по каютам. Неразлучные друзья — морской летчик Сергеев и бортмеханик Квятковский — целыми днями возились у юнкерса, укрепленного на корме. С ними был и Грошев. Этот механик летал над льдами уже много лет, производя вместе с Бабушкиным разведки тюленьих залежек. Сейчас, после того как Бабушкин был назначен членом тройки и начальником летной части, отношение Грошева к экспедиции несколько изменилось. Однако он не отказал себе в удовольствии сохранить известную долю скептицизма; во всяком случае, ничем не проявлялся в нем тот энтузиазм, которым горели в эти дни все малыгинцы. Впоследствии я убедился, что между энтузиазмом и простым сознанием необходимости выполнить долг нет существенной разницы: оба эти чувства в конце концов в одинаковой степени способны сделать человека героем.



Лапландский берег скучен до неимоверности. Некоторое разнообразие в тоскливый ландшафт вносили лишь встречные суда. На море вести распространяются очень быстро. Вскоре мы перестали удивляться тому, что все эти тральщики, катера, парусники и иностранные торговые суда приветствуют нас первыми, и мачты их украшаются сигналами „добрый путь“. Уже здесь, как только мы вышли в море, популярность „Малыгина“ и задачи, перед ним поставленные, были налицо. Все встречные суда наперерыв всячески старались выразить свое уважение если не нам, то во всяком случае тем широтам, в которых нам придется плавать.

В Кольском заливе нас восторженно приветствовали рыбацьи шхуны: они уже были осведомлены о маршруте и целях „Малыгина“. В Мурманске мы пробыли всего несколько часов, после чего завернули в Екатерининскую гавань для того, чтобы в ожидании вечернего поезда, с которым должен был приехать Бабушкин, догрузить уголь.

Воздух в Арктике не знает микробов — он чист, как дистиллированная вода. Люди во льдах незнакомы с насморком, простудой, не боятся сквозняков. В полярных странах страшны только голод и цынга, но против цынги есть лук, клюквенный экстракт и физические упражнения, против голода — неприкосновенные запасы, хорошая винтовка и меткая рука.

Когда мы выходили из Мурманска, боцман Головин повесил высоко над спардеком на реях мясные туши, обернутые в рогожу. Температура иногда превышала десять градусов тепла по Цельсию, однако мясо не пор-

тилось. Его проветривал кристально чистый полярный воздух, и бактериям гниения неоткуда было взяться. Когда однажды у необитаемого острова, название которого позабыто историей, нас трепал жестокий шторм и громадные валы вместе с битым льдом окатывали капитанский мостик, вахтенный штурман распорядился спустить мясо в трюм для того, чтобы его не смыло волной. Мясные туши, обернутые в рогожу, были лишены полярных ветров всего лишь несколько часов. Но с тех пор и до самого конца плавания мы питались несвежим мясом, и многие от этого болели.

Контрасты температуры в полярных льдах просто поразительны. Новенький цельсий, висящий сзади штурвала на солнце, показывает пятнадцать градусов тепла. Тут же внизу, под тентом капитанского мостика, замерзает пресная вода. Солнце в течение суток описывает над горизонтом низкий круг. Греют только прямые солнечные лучи, сам же воздух остается холодным. В первые дни плавания во льдах многие из нас страшно боялись простуды, а некоторые в предвидении сквозняков даже закладывали уши ватой. Но впоследствии на моих глазах человек до пятидесяти проваливалось под лед, не имея возможности тут же обсушиться и переодеться; многие из нас купались в ледяной воде несколько раз, но никто не заболел. Полярный воздух — лучший врач.

Человеческий организм привыкает, приспособляется к воздуху Арктики. Но лишь только он возвращается в обычный климат, наступает реакция. Большинство участников экспедиции на „Малыгине“, вернувшихся

на материк; немедленно слегло в постель и провалялось несколько дней, недель. Говорят, что те, которые зимуют во льдах, вернувшись домой, часто болеют несколько месяцев.

Нам удалось избежать страшного врага полярных мореплавателей — цынги. Врач экспедиции, доктор Мосеев, внимательно следил за тем, чтобы никто не залеживался долго в постели, даже под предлогом морской болезни. О таких он немедленно ставил в известность начальника экспедиции, и их посылали на какую-нибудь „легкую“ работу, например, грузить уголь. Хорошая гимнастика на хорошем воздухе легко побеждает цыngu.

Жизнь на „Малыгине“ была разнообразна, полна неожиданностей, как сон. Когда бывало совершенно спокойно, это казалось очень скучным. Но внутренний распорядок жизни тех, которые плавают, всегда построен по определенному шаблону. Это необходимо для ледокола, который побеждает льды, ибо неизменность порядка дня является составной частью судовой дисциплины.

Два раза в сутки после трех часов в соседнюю с моей каютой дверь негромко стучали.

— Тук-тук-тук... Николай Сергеевич!

— Алло!

— Половина четвертого, Николай Сергеевич. Ваша вахта!

— Хорошо.

— Пожалуйста!

Потом еще в течение нескольких минут вахтенный матрос прислушивался, действительно ли проснулся

первый штурман, и возвращался на палубу. Этот замечательный по краткости диалог я слушал в течение шести недель плавания.

Сквозь тонкую перегородку всегда было слышно, как первый штурман садился на койку. Затем он умывался. Каждый раз с одинаковым характерным стуком в умывальник падала упущенная сонными руками зубная щетка, и Николай Сергеевич сокрушенно восклицал:

— Ах ты, господи!

Потом первый штурман поднимается в кают-компанию, и через несколько минут ясно слышно, как он стучит ногтем по барометру. Затем, спустя некоторое время, шаги его затихают на трапе, ведущем к спардеку. Если на дворе мороз, Николай Сергеевич ходит почти неслышно, если оттепель — у него скрипят новые сапоги. Таким образом, лежа на койке, я всегда могу заранее сказать, какая стоит погода.

Судовые радисты просыпаются иначе: у них из-за перегрузки станции суточная вахта — двадцать четыре часа они работают и столько же отдыхают. Капитан Чертков купил им в Гамбурге бесподобный немецкий будильник; такие будильники, должно быть, делают только в Германии, в стране порядка. Каждый раз, когда происходит смена суточной вахты радистов, будильник начинает звонить, и все на ледоколе вскакивают как встрепанные. Радист дежурил сутки, потом он был на авральной работе, потом он чинил радио на самолете, потом ходил на лыжную разведку. В общем спал он четыре часа за двое суток. Будиль-

ник звонит, но радист не просыпается. Вахтенный матрос с остервенением стучит кулаком в дверь его каюты и кричит полушутя, полусердито:

— Эй, проснись, чорт! Заткни будильник, все судно переполошил.

Немецкий мастер, который этот будильник выдумал, предназначал его для более спокойной работы. Организм русского человека плохо воспринимает выдумки немецкой техники. Однажды будильник звонил целые полчаса над ухом спящего, который проснулся только от крепкого товарищеского стука в бок и нескольких подлинно русских выражений.

Профессор Визе, начальник экспедиции, является барометром наших настроений. Когда все обстоит благополучно, радиосвязь хорошо налажена, Бабушкин готовится к полету и погода предсказывает хороший результат в предстоящей разведке, Владимир Юльевич медленно ходит по палубе, заложив руки за спину. Он в кожаном пальто, и уши его шапки-финки треплются по ветру. Чаше всего он гуляет один, но иногда к нему присоединяется кто-нибудь из участников экспедиции, и оба гуляют по палубе в течение нескольких часов. Мы сидим в кают-компании и прислушиваемся к шагам над нашими головами. Неожиданно профессор Визе ускоряет шаг. Он громче топает сапогами, шаги становятся чаще и короче. Повидимому, надвигается туман или еще какая-нибудь неприятность. Перед штормом Владимир Юльевич через каждые несколько секунд, громко стуча сапогами, пробегает над нашей головой. Значит, дела плохи. Если в такую

минуту выйти на палубу, то можно наблюдать следующую картину: Владимир Юльевич и его помощник Лавров быстро двигаются взад и вперед по спардеку, от трапа капитанского мостика к радиорубке. Большой Визе ходит вдоль спардека, а маленький Лавров бежит вприпрыжку рядом с ним; оба оживленно беседуют. А кругом всегда невозмутимые вахтенные матросы во главе с неутомимым боцманом Головиным крепят концами все предметы, которые могут быть сорваны волной. Надвигается непогода.

Третий ученый в составе нашей экспедиции, синоптик Лорис-Меликов — совершенно замечательная личность, целиком поглощенная своей наукой. Несколько раз в день дежурный радист приносит ему длинные склеенные полосы бумаги с цифрами, передающими метеорологические сводки из разных стран. Эти бюллетени мы называем выигрышными таблицами, потому что они напоминают таблицы тиражей выигрышных займов. У Лорис-Меликова есть большое количество аппаратов, назначение которых нам мало известно. Между прочим, один из них — большой никкелированный сосуд с заводным механизмом; жужжание его напоминает пчелиный улей. Кроме того, у нашего синоптика есть еще аппарат, напоминающий ручную ветряную мельницу. В связи с этим вся команда прозвала и самого синоптика „ветродуем“.

Суровые условия нашего плавания уже заставили через несколько недель экипаж „Малыгина“ отказаться от различных предрассудков суеверия. С тем большим удовольствием как команда, так и штурманы построили

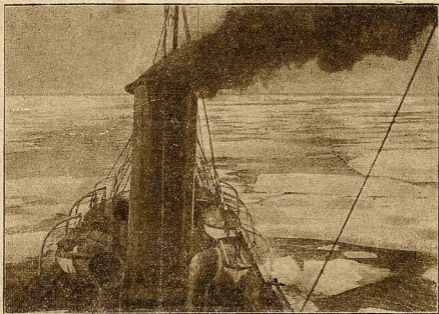
вокруг имени синоптика целую легенду. У нас было принято считать, что если „ветродуй“ в неурочное время вышел на палубу, значит — быть шторму.

Летный состав также постоянно полемизировал с Лорис-Меликовым, упрекая его в недостаточно точном предсказании погоды. Интересно было наблюдать, как перед каким-нибудь важным полетом один синоптик отбивался от четырех летчиков, которые наседали на него со всех сторон. Синоптические карты Лорис-Меликова не всегда оправдывались целиком, но, во всяком случае, его предсказания ветров были безукоризненны. Не было буквально ни одного шторма, о котором он не сообщил бы заранее.

Летный состав экспедиции на „Малыгине“ жил исключительно дружной семьей. Молодой морской летчик Сергеев, мечтавший все время увидеть чистую воду, на которой он имел бы возможность применить поплавки, заболел снежной слепотой еще до того, как мы вышли из льдов. Та вода, с которой нам приходилось встречаться в течение слишком пяти недель, доходила до нас почти исключительно в виде брызг, перемешанных с мелкобитым льдом, захлестывавшим верхнюю палубу.

Команда „Малыгина“ считает полярные льды своей родной стихией. Многие из тех, которые с нами плавали, зимовали во льду несколько раз. За все время плавания на ледоколе царила та замечательная дисциплина, которая сковывает людей, обреченных на смерть.

Люди „Малыгина“ два раза в год выходят во льды за зверем. Каюты переполнены промышленниками.



Люди не умещаются в каютах, спят под койками и прямо на полу. Самолет вылетает с базы — острова Моржовца — и делает разведку тюленьих залежек. Потом летчик по радио сообщает капитану „Малыгина“, куда лучше всего идти. Промышленники соскакивают на снег и, прыгая через льдины, бьют зверя. Потом на воду спускают шлюпки, шлюпки эти объезжают людей и собирают тюленьи шкуры.

Люди с „Малыгина“ знают льды, как свои пять пальцев. У них есть приметы, неуловимые сигналы на небе и воде, по которым они с точностью науки предсказывают погоду, угадывают мелкие места, чуют приближение зверя. Мне показывали в Архангельске Павла

Еремеевича, старосту Койданской артели, прозванного королем льдов. Этот замечательный старик первый раз отправился в плавание, когда ему было восемь лет. Сейчас ему больше шестидесяти.

Павел Еремеевич не знает не только гидрографии, но и грамоты. Но когда он стоит на мостике рядом с вахтенным штурманом и наука говорит, что ледокол должен повернуть влево, для того чтобы не сесть на банку, а Павел Еремеевич по той же причине велит повернуть вправо, — вахтенный штурман прячет карту в ящик и слушается короля льдов, потому что он никогда не ошибается. Если летчик сообщает, что в тридцати милях юго-восточнее „Малыгина“ легли тюлени в количестве не менее десяти — двенадцати тысяч, а Павел Еремеевич заявляет, что в пятнадцати милях северо-западнее их не меньше двадцати тысяч, ледокол идет на запад, и никто впоследствии об этом не жалеет.

Сейчас Павел Еремеевич — инвалид. Король льдов, как и большинство поморов-промышленников, заразил руки трупным ядом тюленя. Руки пришлось ампутировать, но, кажется, в будущем году Павел Еремеевич снова идет в плавание. Об этом человеке мне рассказывали на „Малыгине“ легенды.

На судне есть красный уголок, много карт и диаграмм, шахматы, шашки, домино. Домино — самодельное, вырезанное на меди, и основной смысл игры заключается в том, чтобы как можно громче стукнуть камнем о стол. У Лорис-Меликова было домино из картона, но люди с „Малыгина“ не хотели им пользоваться: не получалось стука и было неинтересно.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

1. ТРУЖЕНИКИ ПОЛЯРНОГО МОРЯ

В Екатерининской гавани есть маленькая угольная бухточка, куда заходят траулеры перед выходом в море. У подножия скалы, на деревянной пристани, навалена гигантская груда угля. Где-то здесь за каменными глыбами должен быть город Александровск, но его что-то не видно. Громадные оголенные скалы кое-где покрыты лишаями мхов, как вытертое место на ковре. Во всех трещинах, во всех складках горных пород лежит снег, девственный и синий, как снег альпийских вершин. Таких скал, конечно, в Альпах не встретишь, они есть только в Лапландии или висят они над голубыми кру-

жевами норвежских шхер. Под спудом многотысячной гранитной глыбы к самой воде спустился рыбачий поселок. В глубоком и узком заливчике, где даже в сильный шторм теплая вода Гольфштрёма бывает глаже зеркала, черным пятном виднеется флотилия рыбачьих шлюпок. Все это—и скалы, и снег, и угольная бухта—какое-то нерусское, непохожее на наши обычные пейзажи.

Когда „Малыгин“ тихо подходит к деревянной пристани, из-за груды угля выскакивает веселый краснощекий человек в фуражке Совторгфлота и, сложив руки рупором, кричит так, что содрогаются кругом гранитные стены. Екатерининская гавань расположена в ущельи, голубое небо где-то высоко над нами, кругом—отвесные стены черных скал; здесь солнце светит только в полдень, здесь не бывает ветров. Эта райская гавань как-будто специально выдумана природой для того, чтобы помочь человеческому мореплаванию.

Мы живем на „Малыгине“ уже двое суток. Со времени нашего отъезда из Москвы произошел целый ряд изменений в плане экспедиции. Чухновский не прилетел к нам, и напрасно два белых с синим поплавка двое суток мелькали на гладкой поверхности Двины. В течение трех дней на рассвете у водной станции собиралась толпа любопытных. Задрав голову кверху, взрослые и дети зорко наблюдали за небом, ожидая появления гидроплана. За эти дни как громом поразило мир первое подробное радио Нобиле, принятое итальянской морской базой „Читта ди-Милано“. Газеты приводили подробности аварии. Совершенно четко предста-

влялась в нашем воображении разбитая гондола дирижабля, люди, унесенные в пространство на изодранной оболочке, гранитная глыба острова Фойн и палатка, затерянная в ледяной пустыне. В тот день, когда мы пришли в Мурманск принять на борт летчика Бабушкина, получено было первое радио о том, что „Красин“ выходит в море.

Жалкие деревянные бараки Мурманска остались в нашей памяти, как последнее воспоминание о земле. На песчаном берегу у оголенного полотна железной дороги, сгрудились эти невзрачные жилища людей, населяющих самый северный в мире порт. На базаре торгуют почему-то только одни китайцы; живут они здесь с незапамятных времен и являются монополистами рыночной торговли. В громадном двухэтажном каменном здании „Желрыбы“ с утра до вечера звучат музыка и пьяные песни. Здесь, в душных прокуренных залах, пропивают свои трудовые гроши мурманские грузчики, моряки с проходящих траулеров, матросы иностранных купеческих судов. Бабушкина мы не дождались и ушли за углем в Екатерининскую гавань. Там, поднявшись высоко по красной лестнице вдоль отвесной стены скал, я с наблюдательной вышки последний раз посмотрел на землю, которую мы должны были покинуть на долгие месяцы.

Александровск и Мурманск — молодые города, выросшие на наших глазах. Александровск сейчас умирает. Спотыкаясь в засыпанных снегом и ледяной пылью трещинах скал, мы с гидрографом Лавровым поднялись на самую вершину Екатерининской скалы. Внизу, в за-

росшей мхом долине — несколько десятков полуразвалившихся деревянных домов. Это — город Александровск. И опять что-то отнюдь не русское, заграничное напомнилось мне в этом рыбацьем поселке, сдавленном между двумя гранитными глыбами. Люди, которые живут в этом городе, кормятся теплой водой Гольфштрема и лишь в крайних случаях, в тяжелые годы, когда уходит рыба, вылезают на своих хрупких шлюпках в открытый океан. Население этого города, который по замыслу царского правительства должен был стать сказочной вольной гаванью — порто-франко Арктики, сейчас вымирает. Нелепое головотяпство царских чиновников выбросило на эти скалы несколько десятков семейств, которые у берегов Ледовитого океана должны были стать самой северной колонией империи Российской. Этим людям сейчас не нужна ветка железной дороги, идущая из Мурманска на Колу. Целые поколения этих людей никогда не пользовались иным средством передвижения, кроме гребной или парусной шлюпки. В тяжелой борьбе с морем проводят эти люди свои дни и недоумевают, почему нелепая и несправедливая судьба закинула их в эти скалы, покрытые льдом и снегом восемь месяцев в году.

Мы спустились в долину. Очарование альпийского пейзажа исчезло. Из грязных деревянных домов шел нестерпимый запах жареной трески и затхлый воздух бескультурья, грязи, темноты, нищенского быта.

В деревянной, покосившейся на бок церкви — первом здании, построенном в этих местах, — шло богослужение. Громадные и неуклюжие, в просмоленных брезентовых

рубашах и тяжелых воловьих сапогах, крестясь, выходили из церкви рыбаки, спешившие на ловлю. Рядом в новеньком деревянном бараке девяностолетний слепой старик варил в громадном чане рыбий жир. В углу, сложенные как дрова, валялись распоротые туши семги. Такой семги я не видал в московских магазинах. Рыбы были громадные, как акулы, и по жолобу глиняного пола алым ручьем в изобилии стекала с них кровь. Слепой старик так и умерт совершенно темным человеком. Он — глава первой переселившейся сюда семьи. За топкой рыбьего жира он потерял рассудок; родные три раза в день приносят ему сюда пищу. И в полярную ночь, как и в полярный день, медленными, размеренными движениями он мешает деревянной палкой кипящее в котле сало. Когда мы попытались заговорить с патриархом семги, он, испуганный звуком чужих голосов, отскочил от котла и зарылся в углу в грудe какого-то рваного тряпья. Я вспомнил, как в пятнадцатом веке антверпенские торговые суда, прибывшие в Колу, которую они называли Мальмус, застали на этом месте всего три дома, население которых, испуганное появлением иностранцев, разбежалось по тундре. Пять столетий — и как-будто бы ничего не изменилось.

Серой полярной ночью мы в кают-компании ели александровскую семгу. По зеркальной глади Екатерининского залива пыхтя подошел к „Малыгину“ маленький пузатый катер, и высокий человек в фуражке Добролета уверенными шагами поднялся по трапу. Даже если бы я не видал фотографий Бабушкина, я, должно быть, сразу узнал бы легендарного летчика

полярной пустыни. Таким, каким я увидел его в эту ночь у подножия Екатерининской скалы, я видал его еще много раз потом в ледяной пустыне, таким я знаю его и сейчас. В каждом рассчитанном движении его большого туловища, в каждой улыбке странного для его профессии мягкого лица все то же уверенное спокойствие, непоколебимая энергия, звериная вера в человека — победителя природы. На ходу поздоровавшись с нами, Бабушкин большими шагами прошел прямо на корму к самолету и, поднявшись на настил, положил руку на мотор. Теплый ветер, дувший с материка, медленно шевелил брезент, которым накрыт был наш маленький юнкерс, и в сером полусвете ночи казалось, что машина приветствует своего хозяина.

Бабушкин привез с собою двух студентов, едущих на практику из Ташкента на Александровскую биологическую станцию. Мы посетили это единственное в своем роде научное учреждение. В двух чистых деревянных домиках, прилепившихся у подножия громадной скалы, круглый год много лет под ряд работает горсточка героев науки. Труды этой станции известны всему миру, но, когда мы пришли, один из профессоров, спешно вытирая руки, убрал в сторону примус, на котором он жарил себе треску. В музее станции сосредоточены редчайшие образцы представителей животного и растительного мира арктических морей. Мы долго ходили, вытаращив глаза, вдоль стеклянных витрин, и в течение этих нескольких часов нам, казалось, открылись сразу все подводные тайны Арктики. Я вспомнил слепого старика, склонившегося над чаном с ки-

пиящим рыбьим жиром, витрины музея и жареную треску на примусе ученого, имя которого известно во всех столицах культурного мира. Сколько парадоксов сразу, — новая Россия.

„Малыгин“ шел к острову Надежды тем самым курсом, которым двести — триста лет тому назад ходили груманланы-поморы, промышлявшие в Груманте, сказочном арктическом архипелаге, который сто лет назывался Шпицбергенем и лишь недавно переименован в Свальбард. Зеркальная гладь Баренцова моря напоминала скорее какое-нибудь горное швейцарское озеро, чем Ледовитый океан. Древние викинги, ходившие на парусных ботах к Свальбарду, называли Баренцово море Проклятым морем, — так сильны свирепствующие на нем бури. По убеждению викингов, бури эти вызывались колдовством лопарей. Еще в начале XIII века Саксон Грамматик писал, что король Горм, собиравшийся плыть Баренцовым морем в Биармию, собрал специальное совещание из магов и волшебников, которые должны были снабдить его судно всеми усовершенствованными приборами, необходимыми для борьбы с колдовством.

Для нас Баренцово море не оправдало своего названия. Хотя стюард и покрыл столы кают-компании специальными рамками для того, чтобы от качки не спадала посуда, но качки не было, и лишь самые слабые из нас два — три часа в день валялись по койкам. Ночь осталась позади нас, она исчезла совершенно. Круглые сутки светило огненное солнце над зеркальной гладью океана. Лучи этого солнца проникали в самые

темные углы корабля, и, сонные как мухи, мы слонялись целый день по палубе без отдыха, без ночи. Я просиживал долгими часами в радиорубке. Простая вещь — радио — только в таких обстоятельствах познается как величайшая победа человеческой техники над природой. Наш корабль, идущий в открытом океане, все время был связан с внешним миром. Высоко в снастях малыгинских мачт завывал ветер, равномерно вздрагивала антенна, и нервная рука телеграфиста исписывала зеленые бланки различными известиями, поступающими к нам со всех концов мира, на всех человеческих языках. По этим обрывкам вопросов, ответов, корреспондентских телеграмм мы впервые поняли, что советская спасательная экспедиция находится в центре внимания всего культурного мира. Внизу, в кают-компании, летчик Бабушкин играл в домино. Бортмеханик Квятковский возился над исправлением сломанного патефона, а наверху, в радиорубке, телеграфист уже давно перестал писать иностранные названия, и рука его уверенно выводила на всех языках мира:

„Бабушкин, Чухновский, Чухновский, Бабушкин, советские ледоколы идут, идут, идут. Италия! Италия! Нобиле! Нобиле! Бабушкин, Чухновский, советские ледоколы идут!“

II. МАГНИТНАЯ БУРЯ

Полтора месяца над „Малыгиным“ не заходило солнце. Я видел изумительные полярные ночи, светлые, как день. Красота их не сравнима ни с чем. Люди те-

ряют счет часам, дням, неделям. Те, которые любят смотреть на сияющий полярный снег без специальных очков, жестоко платятся за свое любопытство снежной слепотой. Они лежат потом несколько дней, недели с перевязанными глазами, ослепшие, больные. Безнаказанно наблюдать снежное сияние может только человек, родившийся в этих местах.

За несколько часов до того, как войти в кромку льда, первый штурман показал нам ледовое небо. На горизонте, над самой водой, виднелась ослепительно белая полоса на небе — отражение снежного сияния. Вскоре стали попадаться отдельные льдины. Они кружились вблизи „Малыгина“ и уходили под воду, увлекаемые водоворотом. Льдины были грязно-серые, талые, и казалось, что кто-то только-что нарочно столкнул их в воду с крыши московского дома. Потом пошел мелкобитый лед. Его медленно колыхало зыбью. Отдельные льдины со скрипом ударялись о борт судна, и спать было невозможно.

Мы подходили к кромке льда. Непередаваемое чувство, охватившее нас, когда мы входили во льды, повторилось потом всего лишь только один раз — тогда, когда мы из них выходили. Позади легли необъятные пространства океана, к которому мы успели уже привыкнуть. Громадной свинцово-серой скатертью раскинулась широковатая скатерть к югу и востоку. Над океаном низко стлался мутноватый туман, и седые гребешки зыби напоминали о полном комфорта и спокойствия четырехдневном морском переходе. Где-то там, к югу, за туманом, была земля, близкие, друзья — весь

мир, который ожидал нашей победы и нашего возвращения. Ледяная пустыня впервые явилась нам как невысокая белая стена над водой. Далеко к северу виднелись разбросанные там и сям острые бугры торосов. Раскинувшееся кругом однообразное пространство льдов было испещрено темными полосками водяных разводов. Лед был еще тонкий, и когда „Малыгин“ рассекал форштевнем льдины, они, уходя под воду, показывали нам свои хрупкие изумрудные края.

Вскоре мы увидели первого белого медведя. Он бежал по льду рядом с судном. Был он зеленовато-желтый, как жирное пятно на чистой скатерти. Время от времени он останавливался, садился на задние лапы и глядел на нас с любопытством. Потом опять пускался бежать вприпрыжку, и казалось, что он ставит себе срочную и важную задачу—во что бы то ни стало перегнать судно.

Потом пошли большие льды. Они двигались сплошными полями во много миль, совершенно гладкие, ослепительно белые и спокойные. „Малыгин“ едва вздрагивал от сопротивления льда и свободно колол его носом, как саблей. Мы стали двигаться все медленнее и медленнее. Иногда приходилось давать задний ход, брать разбег и бить лед с наскока. В таких случаях ледокол становился на дыбы, половина судна взметалась на воздух, „Малыгин“ ложился на лед и давил его своей тяжестью. Для того чтобы плавать во льдах, нужно уметь дерзать. На вахте стоял второй штурман, Александр Петрович, человек дерзания, с душой большого мореплавателя и ухваткой обыкновенного русского



матроса, который умеет незаметно для себя и для других делать историю. Александр Петрович плавает 25 лет и, вероятно, лет десять во льдах. Он считается лучшим ледовым штурманом в северных портах. Когда он стоит на вахте, мы идем вдвое скорее. „Малыгин“ трещит и стонет. В кают-компани кресло капитана путешествует взад и вперед. Люди падают с коек, все, что не привязано, шатается и летит на палубу. Но лед колетса, как сахар.

Бывают отдельные ледяные перемычки, которые приходится бить двадцать раз по дряд. В таких случаях на мостик вылезает капитан, весь закутанный в меха

и брезенты, чудовищно большой и тяжелый, похожий на чудо-юдо рыбу-кит из оперы „Садко“ в провинциальной постановке. Не держась за перила, он поднимается по трапу, и кажется, что под ним качается капитанский мостик.

— Вачман! — говорит он с изумительной небрежностью, коверкая английский термин „уочмен“ — вахтенный начальник. — Вачман, — повторяет он, — бросьте это дело, это — грязное дело, вы мне так судно ломаете!

Небритая щетина его трясется от негодования. Капитан подходит к компасу и долго как бы с недоумением разглядывает его.

— Сколько вы били, Петрович? — спрашивает он. — Лежим на курсе и уперлись в перемычку. А в перемычке этой двадцать пять сажен. Давайте ударим еще раз.

Потом капитан идет в угол мостика, становится возле ящика с биноклями, и мы начинаем снова бить лед.

В полночь над нашими головами, выше кают-компаний, в бывшей рубке, отведенной под библиотеку и ленинский уголок, ныне радиорубке, начинал гудеть мотор коротковолновой станции. Это значит, что заведующий станцией Плевако вызывает Москву.

В районе восьмидесятой параллели трудно себе представить, что где-то за тысячи километров, в дачной местности Тарасовке под Москвой, в спокойной и мирной обстановке кто-то принимает наши позывные сигналы. Я хорошо знаю приемную станцию в Тара-

совке. Обычно летом свободные от работы ребята бродят где-то недалеко от станции в темноте с девушками, играют на гитаре и поют песни. А у нас шторм, непогода. Сам Плевако сидит в полушубке, окно радиорубки разбито, и в окно бьет ветер и снег. Люди же, которые с нами разговаривают там, в далекой Москве, ходят в белых косоворотках с растегнутыми воротами. Им жарко, и днем эти люди едят мороженое.

У нас на „Малыгине“ три радиостанции. Одна—судовая, длинноволновая и две—коротковолновые. Не нужно быть специалистом этого дела, чтобы совершенно определенно сказать, что три станции для одного „Малыгина“ — это слишком много. Во всяком случае, как только судовая длинноволновая станция начинает работать, не предупредив своих коллег, у Плевако и Кожевникова сначала горят провода, потом перегорают лампочки, потом вообще все начинает трещать и дымиться.

В таких случаях с нижней палубы, как всегда, довольно спокойно поднимается боцман Головин. Он держит в руках наготове свисток и внимательно внюхивается в воздух, пахнувший горелой резиной, спрашивает вахтенного начальника очень меланхолически:

— Что, свистеть пожарную тревогу или просто всех радистов с аппаратами за борт выкинуть?

Пожарной тревоги свистеть не приходится, радисты остаются на месте, а сам боцман Головин, часа три—четыре повозившись за перемоткой радиомоторов, весь в саже и масле уже слушает какой-нибудь фокстрот с острова Кубы, зажмурив глаза от удовольствия.

Краса и гордость нижегородских коротковолновиков - любителей, Кожевников с любовью художника наблюдает за этой картиной. Боцман Головин, который три часа тому назад хотел выкинуть все радиопринадлежности за борт, скорчил гримасу (которая должна изображать, повидимому, высшую степень блаженства), крепко вцепился в наушники и изредка в такт музыке покачивает головой и прищелкивает языком.

На „Малыгине“ было слишком много радио. Хорошо еще, когда они портились по очереди, но часто это с ними случалось одновременно. Тогда мы не видели наших радистов в продолжение суток: они не выходили ни обедать, ни ужинать. На спардеке, возле радиорубки, перепачканные с ног до головы и изнемогающие от усталости, они молча возились над ремонтом своих установок. Кругом стояли матросы, и никто не смеялся над тем, что радио замолчало. Матрос рад всегда посмеяться над непонятным, он с удовольствием посмеется над радиоприемником, если он находится в действии, но если радио разобрано—это значит: у товарищей испортилась машина, которая поручена их наблюдению, товарищам нужно помочь.

Судовая радиостанция работает почти целый день. Радисты сплошь и рядом несут суточную вахту.

Из всех трех наших станций непосредственно с Москвой работает только Плевако. При его помощи начальник экспедиции профессор Визе может в течение десяти минут получить ответ на запрос, посланный общественному комитету помощи Нобиле. Коротковолновая станция работает от 12 до 2 часов ночи. В эти

часы Плевако—самый важный человек у нас на судне. За ним все ухаживают, ему подвигают сахар, наливают чай, подносят спички, едва только он успеет вставить в рот папиросу.

Через пятнадцать минут все на судне замирает. В кают-компании мы ходим на цыпочках, потому что, если Плевако не расслышит московского сообщения, связь может вдруг прерваться, и мы не будем знать, куда нам идти, что делать, что делается с „Красиным“. В кают-компании разговоры затихают, как только над нашими головами начинает гудеть плевакин мотор. Настороженное молчание изредка прерывается шопотом:

— Посылает повестку. Ого! Слов триста, не меньше, принял!

— Да нет, ничего подобного, просто переспрашивает, не разобрал.

Один за другим выползают из своих кают участники экспедиции, которые из-за усталости проспали торжественный час. Они потягиваются, протирают глаза, качают головой и спрашивают:

— Ну что, пошло?

И всякий знает, о чем они говорят. К двум часам утра, а иногда и раньше, если связь вдруг обрывается, Плевако спускается вниз с журналом под мышкой. Мы все расступаемся и даем ему дорогу, затаив дыхание и заглядывая друг другу через плечо. Если сообщение из Москвы ожидается очень важное, то в такие минуты в кают-компанию собираются все штурманы, старшие механики и даже, кряхтя и охая, взбирается по трапу сам капитан Чертков.

Профессор Визе внимательно прочитывает телеграммы, не спеша, обычно не меньше двух раз, потом он поворачивается к нам и начинает рассказывать:

— Так вот в чем дело, товарищи...

У острова Надежды, с именем которого у нас всех связано так много самых разнообразных воспоминаний, короткие волны замолчали наглухо. Напрасно в полночь мы собирались в кают-компанию и, затаив дыхание, прислушивались к шуму мотора. В два часа утра весь мокрый, как мышь, спускается со спардека Плевако Он—без журнала, журнал ни к чему: Москва не ответила. Сонный, как тень, ходит Кожевников. Он уже три дня не разговаривает с Новой Землей и не слышит Кубы. Коротких волн как-будто не существует. Длинные волны приходят обрывками. „Красин“, „Браганца“ и „Читта ди-Милано“ сообщают, что они уже три дня не слышат Нобиле. Рийсер Ларсен летал шесть раз, и его коротковолновая установка непрерывно вызывала всех нас, но мы его не слышали точно так же, как и он не слышал нас.

Наши радисты собрались в кучу и, обсуждая создавшееся положение, пересыпают разговор столь бесконечным количеством технических слов и выражений, что чувствуешь себя как на полярной лекции в Политехническом музее, но понять, тем не менее, ничего нельзя.

Речь идет о магнитной буре. Что это такое, в точности я не знаю; во всяком случае, это явление в природе существует и от него молчат короткие волны. Профессор Визе, наоборот, склоняется к мнению, что

молчание коротких волн вызвано не явлениями в эфире, а влиянием острова Надежды и окружающих рифов. Эти неисследованные места, постоянный очаг магнитных аномалий, вероятно, парализуют все наши усилия. Так или иначе, спор остается не разрешенным. На безмолвствующих коротких волнах, как на ниточке, висит жизнь шестидесяти малыгинцев. Спор нужно разрешить.

Мы собрались в поход втроем в туманную, но светлую ночь. Вдали время от времени, когда позволяла видимость, мелькали головокружительные вершины острова Надежды. Лед был совершенно спокоен жутким спокойствием самых сильных дрейфов. Я не помню точно быстроты нашего движения, но в эти дни вертело нас кругом Надежды, как в карусели.

Радист Плевако, журналист Островский и я спустились на лед, провожаемые всей командой. На снегу у трапа артельщик смазывал салом лыжи и пробовал прочность саней. На сани мы положили двухпудовый чемодан — походную радиоустановку. Потом надели винтовки и пошли, не попрощавшись ни с кем. У нас в таких случаях не принято было прощаться, иначе бы это приходилось делать несколько раз в день.

Островский шел сзади. Он первый раз в жизни, по его собственному признанию, встал на лыжи. Когда мы спустя сутки в кают-компании вспоминали детали этой разведки, штурмана опровергали Островского и доказывали, что он лег на лыжи, а не встал, — так часто он падал.

Мы не успели отойти и мили, как „Малыгин“ совершенно исчез. Справа раздавался, все приближаясь

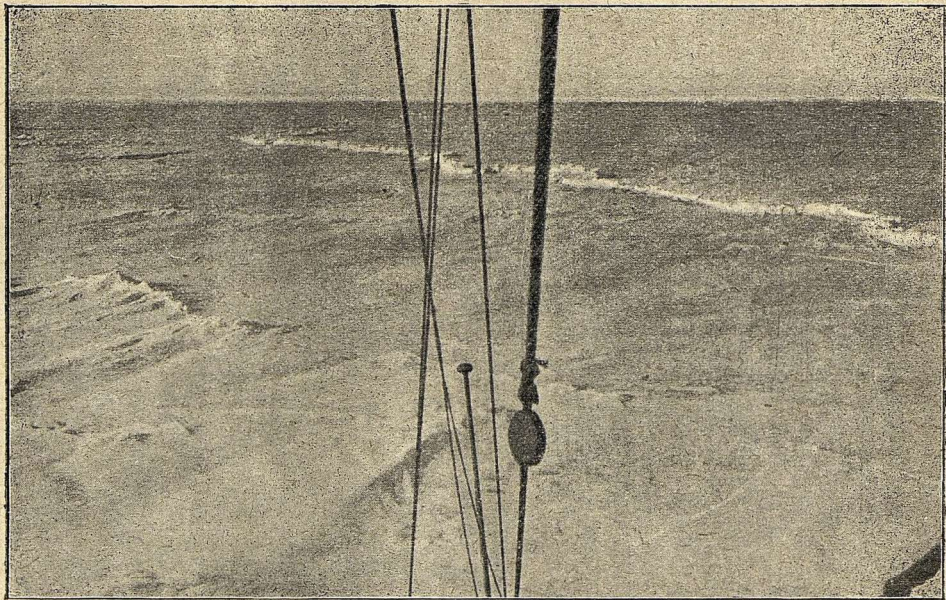
и приближаясь, нарастающий гул: где-то ломало лед. Две винтовки мы бросили сразу: слишком тяжело было итти. Когда Плевако первый раз провалился по плечо в снег, мы сняли чемодан с саней, а сани тоже бросили; чемодан же несли по очереди на плечах.

Такой туман полярные моряки называют „мга“. Он густ как молоко. Если итти, держась за руки, то все равно не видишь своего соседа.

Потом Плевако вдруг выругался и вообще исчез совершенно. Вслед за ним провалился куда-то в преисподнюю и Островский. Я слышал где-то впереди себя только тяжелое дыхание двух людей, которые с чем-то или с кем-то борются, и всплеск воды. Когда спереди раздался хриплый голос Плевако: „Держи чемодан“,—я снял винтовку и пополз вперед на животе.

Плевако и Островский барахтались в воде между треснувшими льдинами. Сверху их засыпало снегом. С колоссальным трудом они удерживали тяжелый чемодан на краю разводья. Прежде чем помочь им вылезти, я два раза провалился в воду сам. Когда наконец, отпихнув на твердый лед чемодан, выбрались на поверхность, мы стали считать свои потери: под лед ушла половина продуктов недельного запаса, запас патронов и одна шуба. Тогда Островский снял сапоги и закурил папиросу.

У Нансена где-то сказано, что белье на сильном морозе сохнет скорее, чем в жаркую погоду. Для этого прежде всего нужно яркое полярное солнце и не меньше 30 градусов ниже нуля. Островский поверил Нансену. Но вместо солнца был туман и было тепло. Носки



и портянки Островского обледенели моментально, но сохнуть не захотели ничем.

Пока мы сушили плевакины вещи, он устанавливал радио. В винтовке осталось всего три патрона, и поэтому мы ее разжаловали в антенну. Между двумя гигантскими торосами мы вырыли в снегу глубокую нору и в ней устроили свой штаб. Компас уцелел, и наше направление было нам приблизительно известно. Вся надежда теперь была на радио.

Когда Плевако, лежа на животе и судорожно прислушиваясь к звукам в эфире, уловил первые слабые вызовы „Малыгина“, между нашей станцией и винтовкой, служившей мачтой для антенны, неожиданно возник медведь. Гидрограф Лавров впоследствии нам разъяснял, что в тумане предметы кажутся гораздо больше, чем они есть, да и потом у страха глаза велики. Во всяком случае этот медведь показался нам величиной с доброго слона.

Мы бродили во льду около шести часов, задача разведки как-будто бы приходила к концу, радиосвязь начинала налаживаться. Кругом тянулись на несколько миль ледяные пустынные поля, не было свидетелей, которые могли бы над нами посмеяться. Да и к тому же мы сами были слишком голодны для того, чтобы добровольно кормить собою какого-то неизвестного медведя, первого встречного.

Поэтому мы немедленно бросились врассыпную, оставив станцию и винтовку, путь к которой нам преграждал медведь, остатки продуктов, теплые вещи, обледеневшие портянки Островского и все остальное

Островский бежал впереди всех на лыжах, прямой как стрела. Он не упал ни разу, и впервые здесь мы столкнулись с замечательным явлением, что медведь может научить человека ходить на лыжах. Когда через три минуты мы разыскиали друг друга между торосами, положение показалось нам довольно юмористическим. Единственным оружием в нашем распоряжении был бинокль комиссара экспедиции Стрелкова, который, давая его нам, предупредил, что спустит шкуру с того, кто его потеряет. Стрелков был от нас за несколько миль. Медведь был рядом. И поэтому мы решили все-таки попробовать убить медведя биноклем. У Плевако еще был довольно солидный перочинный ножик, но, к несчастью, он остался в нашей норе в полном распоряжении медведя.

У Амундсена где-то сказано, что медведи боятся огня и крика. Поэтому мы перешли в контр-атаку. Впереди шел Островский, размахивая биноклем, как кистенем. Я бежал за ним, зажигая спички и щелкая их в направлении медведя. Плевако, вооруженный лыжами, составлял наш резерв. Все вместе мы кричали до хрипоты. Думаю, что для нормального человека наш вид был настолько дик, что, во всяком случае, можно было испугаться. Медведь отступил беспрекословно, лишь слегка разворотив наше имущество и не добравшись даже до радиоприемника. Он пятился задом, ломая торос, вдруг стал на задние лапы и посмотрел на нас с недоверием — стоит ли, мол, их пугаться! — потом пустился бежать вприпрыжку и исчез в тумане.

Вид отступающего врага всегда вызывает неожиданные взрывы героизма. Плохо повинующимися руками я развязал лыжи и разыскал в кармане три оставшихся патрона. Но когда я подходил к винтовке с тем, чтобы начать преследование нашего врага, Плевако сказал мне строго:

— Забудь, что это—винтовка, это — антенна. Как же мы будем без связи?

И мы сели ужинать. На гребне тороса верхом поместился Островский. Мы дали ему бинокль и велели наблюдать за врагом. Куски консервированного мяса мы ему подавали снизу на палочке. Жуя огромный сухарь, Плевако разговаривал с „Малыгиным“, и дивной музыкой казались нам еле слышные звуки Морзе.

Вахтенный штурман давал нам тысячу разнообразных советов о том, как не заблудиться во льдах и легче всего разыскать обратный путь. Профессор Визе выражал некоторое беспокойство в связи с нашим долгим отсутствием. Бабушкин интересовался состоянием льдов и наличием площадок. Мы досыта наговорились в течение часа и пошли обратно по своим следам. На полупути, когда мы нашли брошенные сани, идти уже никто не мог. Двухпудовый чемодан безжалостно ломал спину. Положить его в сани было невозможно. На подъемах тяжесть саней вытягивала из лыж и, наоборот, на спусках чемодан нагонял сани и сбивал с ног. Тогда мы все сели на снег и стали отдыхать. Бесконечная усталость подкралась как-то сразу, почти незаметно. Задача наша была выполнена, и, добившись связи с „Малыгиным“, мы опровергли все варианты

предположений, существовавшие вокруг магнитной бури, и нашли решение единственно правильное. Я до сих пор не знаю точно, в чем оно заключается, но через три часа после того, как мы вернулись на судно, короткие волны заработали.

Когда нужно было встать со снега, оказалось, что никто из нас почти не может двигаться. Мы сняли с себя все лишнее и вместе с лыжами и радио уложили все это на сани. Затем впряглись втроем и пошли, по пояс увязая в снегу.

Последние четыре километра мы шли больше четырех часов. Когда впереди нас темным силуэтом среди торосов показался „Малыгин“, откуда-то сбоку вынырнули две человеческие фигуры: писатель Яковлев и летчик Сергеев. Они вышли нас встречать.

Пока мы обменивались впечатлениями, Плевако упал на снег. Он находился в той степени крайней усталости, когда человеку уже совершенно все равно, что с ним будет.

Когда мы подняли его, он даже не страхнул с себя снега. Ему было безразлично.

Сняв с себя кожаные пальто, писатель Яковлев и летчик Сергеев впряглись в сани и, тронув их с места, медленно двинулись вперед.

Мы, спотыкаясь, пошли за ними. Плевако закурил последнюю папиросу и сказал, ни к кому не обращаясь:

— В следующий раз нужно будет взять установку полегче. В этой два пуда, и мы ее чуть не утопили. Вот скандал был бы!

III. НАД ВЕЧНЫМИ ЛЬДАМИ

Бабушкин слишком велик для своего самолета; они оба как-будто сделаны в разных масштабах: когда летчик и аппарат стоят рядом, эта диспропорция с исключительной яркостью бросается в глаза. Даже бортмеханик Грошев, который невелик ростом, когда он копошится на нашем юнкерсе, кажется большим крабом, переползающим через маленькую раковину.

Грошев ухаживает за своим самолетом так же, как в безлошадных деревнях крестьяне смотрят за единственным конем, только-что купленным у цыган на базаре на последние запасы хлеба. Я думаю, что, если бы у Грошева в таких обстоятельствах была своя лошадь, он все-таки не обращался бы с ней так любовно, как он обращается с юнкерсом. Это слишком утомительно.

В тяжелые штормовые дни, когда после многих часов непрерывной борьбы со смертью люди трупам лежат на койках и им уже нипочем ни качка, ни новый надвигающийся шторм, Грошев выходит из своей каюты. Он давно не брит. Лицо его мертвенно бледно; малыгинский режим отражается даже на самых сильных из нас. Грошев выходит на палубу, потуже затягивает кожанку и, надев полярные очки, подбрасываемый толчками судна от фальшборта к стенке рубки, идет на корму к самолету.

Там для него очень много работы: нужно проверить, насколько прочно держат веревки, не отогнуло ли ветром брезент, не дует ли мотору, и мало ли что наконец.

В такие моменты к Грошеву обычно подходит вахтенный матрос. Он тоже очень устал и хочет спать, потому что вступил на вахту сейчас же после авральной работы. Они долго оба прикуривают с подветренной стороны, соблюдая столь большое множество различных курительных этикетов, что им позавидовал бы любой дипломат. Моряки вообще, особенно в плавании, исключительно, демонстративно вежливые люди. Мне в этом неоднократно приходилось убеждаться на „Малыгине“. Наконец побеждают папиросы Грошева, а спички — вахтенного матроса, и оба начинают разговаривать об авиации.

Бортмеханик рассказывает, а матрос слушает. И в моменты, когда излагается особенно сложная техническая деталь полета, вахтенный с большим знанием дела плюет через фальшборт и говорит:

— Вот это да, а то ведь мы что ж, не живем, а плаваем!

Когда наш самолет и другие типы летательных машин разобраны по косточкам, Грошев еще раз обходит юнкерс кругом и осматривает его хозяйственным глазом. Потом он возвращается и, перед тем как лечь спать, заходит в кают-компанию выпить стакан воды с клюквенным экстрактом.

Уже через две недели после выхода в море у нас что-то случилось с кипятильником: туда просачивается морская вода, и мы пьем соленый чай, соленый кофе, соленую воду. В чистом виде пользоваться ею для питья без клюквенного экстракта невозможно.

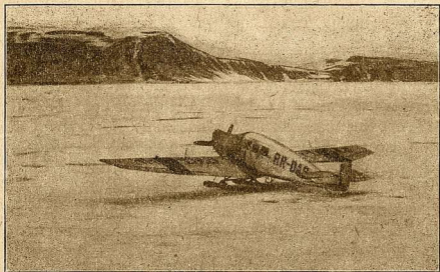
Если в кают-компании сидит начальник экспедиции профессор Визе, который тоже очень мало спит, Грошев, наливая себе из графина воду, говорит, ни к кому, собственно, не обращаясь:

— Ходил на корму. Ну, ничего, самолет стоит, все в исправности...

Потом бортмеханик, не попрощавшись, идет спать с тем, чтобы снова проснуться через два часа.

Когда в Баренцовом море нас трепал шторм и громадные волны перекатывались через спардек, как бы издеваясь над попыткой людей одолеть водяную стихию, мы двое суток почти бессменно держали самолет руками, чтобы его не смыло волной. Эти дни были настолько полны самых разнообразных впечатлений—от течи в подводной части и до чьей-то безлюдной шлюпки, брошенной в море потерпевшими крушение мореплавателями, что трудно восстановить в памяти все детали этой замечательной страницы из истории малыгинского плавания. Единственное, что я помню твердо,—это то, что Грошев не сменялся ни разу. Его кожанка стала белой от легших на нее слоев морской соли. Небритая щетина его также была покрыта белыми сверкающими кристаллами. Но, крепко уцепившись пальцами за канат, бортмеханик держал свой самолет, и настолько подетски спокойно было выражение лица этого человека, который совершал не первый, вероятно, подвиг в своей жизни, что как-то неловко было сменяться и уйти в теплую кают-компанию.

В самолете Бабушкина я больше всего ненавижу фюзеляж. Талантливый конструктор Юнкерс, автор не



одного десятка самого разнообразного вида летательных машин, вероятно, никогда не думал, что одно из его творений — Ю-13 — сумасшедшие люди на семьдесят девятой параллели будут таскать на плечах с палубы на лед.

Поэтому весь остов самолета в разобранном виде покрыт выступами, болтами и закорючками, которые больно врезаются в тело. Если фюзеляж нести прямо на плечах, а несут его человек десять — пятнадцать, то от одного такого спуска по мосткам на теле образуются синяки. Если самолет грузится и разгружается несколько раз в день, то эти синяки превращаются в язвы. Если же держать фюзеляж руками, то через минуту из-под ногтей выступает кровь. В общем все это очень сложно.

Когда нужно выгрузить самолет, мы настилаем мостки и тащим отдельные части юнкерса на плечах. Впереди всех идет Бабушкин. Он очень высок, и из-за этого задняя часть фюзеляжа опускается книзу, и тем, которые идут сзади, приходится ползти по мосткам, поддерживая хвост на спине. Это очень больно.

У Бабушкина уже немолодое лицо — вероятно, так старит воздух, — но глаза у него совсем молодые; с такими глазами не страшно лететь куда угодно.

Бабушкин идет впереди. Передний конец фюзеляжа у него на плече. Одна рука свободна. Этой рукой он ритмично помахивает в воздухе и время от времени кричит:

— Эх, раз, взяли! Эх, два, взяли.

И мы берем.

В эти минуты я вспоминаю о древних викингах, которые, говорят, первые открыли не только Шпицберген, но и Америку. Вероятно, их техника в полярных льдах была так же примитивна, как и наша.

Кроме фюзеляжа, у нашего самолета есть еще плоскости, крылья, которые летчики называют „плоскостя“. Вероятно, по-летному так правильно. Я тоже теперь говорю „плоскостя“. Крылья нести на лед и грузить обратно на судно значительно легче. Но и в них скрыта маленькая неприятность — поворотные рули. Если палец попадет между рулем и остовом крыла, он потом десять дней бывает совершенно синий. Больше всего я люблю сгружать стабилизатор, руль глубины. Его может нести один человек, и тем не менее эта работа является чрезвычайно ответственной. Малейший

изгиб в стабилизаторе может лишить самолет способности маневрировать в воздухе.

Потом есть еще лыжи. Их можно просто скатывать вниз по мосткам. Об этих лыжах мне известно лишь то, что если бы они были у всех иностранных самолетов, спасающих Нобиле, и летчики умели бы ими пользоваться, то они давно уже могли бы снизиться у самой палатки генерала. Таких лыж у нас—всего одна пара, и носимся мы с ними, как с малыми детьми. В общем Ю-13 производит чрезвычайно тщедушное впечатление. Когда его первый раз собрали для пробного полета на льду, наш боцман подошел к самолету, потрогал его руками и сказал Бабушкину с явным недоверием:

— И на этой штуке ты полетишь? Ведь она же ни чорта не стоит. Дунуть — и нет ничего.

Я летал с Бабушкиным на этом самом аппарате несколько раз и убедился в том, что маленькая дур-алюминиевая птичка стоит все-таки очень многого. Но внешний вид ее, особенно в разобранном виде, особенно если снести ее вниз по мосткам на плечах, никак не внушает доверия.

Если крепко взяться обеими руками за специальную ручку у края одного из крыльев и сильно дернуть вниз, весь самолет закачается, даже если он полностью нагружен бензином, если даже в нем сидят три человека. Как я узнал потом, именно благодаря этому свойству самолет может отрываться ото льда.

В этих широтах лед покрыт снежным покровом. Как только самолет садится, лыжи проваливаются в снег и чуть-чуть примерзают. Для того чтобы дать

возможность самолету развить хотя бы ту скорость, которая необходима для глассирования, нужно взяться за крыло и качать его до тех пор, пока противоположная лыжа не поднимется над уровнем снежного покрова. Невероятно, но факт!

Когда подъем в воздух совершается от нашей базы, это еще полбеды: нас обычно провожает не менее половины населения „Малыгина“, и всякий готов нам помочь сняться с земли.

Но если дело происходит во льдах, в тумане, в нескольких стах километрах от базы, — чорт его знает, где оно происходит, это дело, раз мы сами не можем определить, где мы находимся, — то оно обстоит значительно сложнее.

Впереди у мотора сидят пилот и бортмеханик. В кабине — радист, он же — аэронавигатор, он же — пассажир, он же — наблюдатель. Для того чтобы оторваться от земли, этот третий человек должен раскачать самолет и успеть вскочить на ходу, пока Бабушкин не разовьет скорости, недоступной для человеческого бега.

Для московского человека, который отвык вскакивать на ходу даже в трамвай, это — далеко не легкая задача. Впрочем, Бабушкин дружески меня предупреждал:

— Если не успеешь вскочить, сейчас же падай на землю. Помни, что сзади тебя идет стабилизатор и по твоему росту придется, ну, как тебе сказать точно, пожалуй, прямо по затылку. А ты знаешь, что я буду делать без стабилизатора? Так и будем сидеть на льду, как дураки!

Совет Бабушкина я исполнил с благоговейной точностью. Когда самолет тронулся по льду, я решил перехитрить законы физики и не выпустил крыла из рук, а обогнул его кругом, стараясь не отставать от самолета. В этот момент юнкерс подскочил на ледяной кочке, и я, зажмутив глаза, ослепленный струей воздуха от пропеллера и брызгами снега, вполз в кабину на животе. В окошко скалил зубы смеющийся Бабушкин. Для него, вероятно, было непонятно, как это можно таким странным образом попасть в кабину. После полета он мне долго объяснял, что на плоскости есть ступеньки и что вообще все это дело очень несложно. Не знаю, может быть.

А как-то раз был и такой случай. Третьим человеком на самолете был судовой радист Фоминых. Он тоже раскачал самолет и тоже хотел перехитрить законы физики. Но лед треснул под юнкерсом, и Фоминых провалился в воду. Бабушкин во-время заметил отсутствие третьего пассажира и закрыл газ, еще не развив полной скорости на льду. Фоминых выкарабкался на поверхность, повторил свой опыт и через три часа вместе с пилотом и бортмехаником возвратился к нам. Это было в двухстах километрах от „Малыгина“.

Радист вылез из кабинки; вся одежда на нем обледенела. Когда мы спросили его, как он себя чувствовал в первом полете, Фоминых пробормотал сквозь зубы:

— Будь он проклят!

Но в следующий раз попросился летать опять.

А один раз мы летели без Грошева. Это была проба нового мотора. Правее Бабушкина, у параллельного

управления сидел морской летчик Сергеев. Бортмеханик Грошев до последней минуты не оставлял нас. Он бегал кругом самолета с чрезвычайно озабоченным видом, подкручивал какие-то гайки и стучал ключом по баку. Потом он влез на крыло и минут пятнадцать копался в моторе; весь его вид показывал, что без него лететь — безумие. Я не знаю, чего в нем было больше: опасения за нашу целость или за целость самолета. Во всяком случае, я еще раз вспомнил однолошадного крестьянина и подумал, что приблизительно так же выглядел бы он, одалживая своего коня соседу.

Грошев завел винт собственными руками. Этого дела он, вероятно, не доверил бы никому, даже если бы в него стреляли из пушек. Потом он еще раз влез на крыло, заглянул в машину и проверил количество оборотов. Когда я в последний раз увидел из окна кабинки льды вблизи, Грошев собственноручно раскачивал крыло самолета, чтобы помочь нам оторваться от земли. Он что-то кричал Бабушкину с нахмуренным лицом — приветствие ли, совет ли, кто знает, — и я особенно ярко почувствовал, как много близкого и родного может быть у человека с определенной машиной, которая поручена его заботам.

Бабушкин несколько раз рванул аппарат на себя. Лыжи никак не могли оторваться от снежного покрова. Мы поднялись на метр, провалились, запрыгали по кочкам, снова поднялись и снова провалились и наконец полетели, забирая высоту. Момент окончательного отрыва от льда был совершенно нечувствителен. Ничего подобного нельзя испытать, летая на колесах,

на поплавах или на лодке. В тот момент, когда я окончательно сообразил, что мы летим в воздухе, Бабушкин описывал круг, и „Малыгин“ явился мне как чуть-чуть обкуренная сигара, раздавленная пьяным каблуком на залитой солнцем уличной панели. Все остальное кругом было ослепительно белое. Мы летели приблизительно на высоте километра. Видимость была настолько исключительная, что мне померещились, быть может, увенчанные шапкой туманов вершины острова Короля Карла. Из мотора шел едва заметный дымок. Это было единственное пятно на ослепительно ярком фоне льдов и неба.

Внизу по льду за нами бежала наша тень. Мы летели очень высоко, и увидеть ее простым глазом было невозможно, но в бинокль эта фантастическая тень скользила по снегу во всей своей сказочной красоте. Ничего подобного я никогда не видел в жизни, и, думаю, не видел никто, кто не летал надо льдом. Отсутствие каких-либо видимых предметов на земле, полный, абсолютный простор, такие необъятные пространства, когда ослепительно яркая земля переходит почти незаметно в ослепительно яркий горизонт — этих вещей нельзя описать человеческими словами.

Десятки минут казались секундами. Бабушкин шел на снижение. Сначала я увидел густую черную полосу дыма, затем явился „Малыгин“. С севера надвигался туман, и кочегары старались изо всех сил — боялись, что мы своевременно не заметим судна.

Самолет сел на лед так нежно, что в кабине не покачнулся даже мой бинокль, висевший на стене,

Навстречу нам, проваливаясь в снежных сугробах, бежал бортмеханик Грошев. Он первым влез на плоскость, открыл капот и начал копаться в моторе.

— Михаил Сергеевич, — сказал он, — оборотов двадцати вы все-таки не добрали. Я ясно слышал.

Потом он, не глядя ни на кого, стал возиться, нырнув в кабину. Каждый его жест говорил о том, как неблагоразумно летать без бортмеханика. По этому поводу сам Грошев не сказал ни слова, но во взгляде его сквозило явное неодобрение.

Когда мы поднимались по трапу на судно, я посторонился и уступил дорогу этому замечательному человеку. Но Грошев меня не заметил. Вертя в руках какой-то ключ, он плевал на него, дул, вытирал рукавом и снова дул. Он был занят.

Люди думают, что дни плавания в море, во льдах полны однообразия. Это — не так. На „Малыгине“ вчерашний день никогда не походил на сегодняшний.

Суровый шторм сменял ясный день полярного лета в беспорядочной последовательности, точно так же, как часы утомительного труда и нечеловеческих лишений уступали место вынужденному бездействию и почти полному комфорту.

В такие дни Бабушкин подолгу простаивал на капитанском мостике возле ящика с биноклями. Всегда прилежный боцман Головин использовал каждую минуту штиля для того, чтобы произвести на судне поверхностный ремонт. С ног до головы перепачканный в краски, он покрывал лаком поручни капитанского мостика, красил двери, наводя замысловатые виньетки,

На спардеке пахло скипидаром, и наши кожаные костюмы были испещрены полосками зелеными, белыми и коричневыми. Как ни мирно мы жили в эти дни, никому все же не пришло в голову вывесить на опасных местах знакомый в культурной обстановке плакат: „Осторожно — крашено“.

В десяти градусах от северного полюса на советском ледоколе, который уносился ледовым дрейфом дальше к северу, простой русский матрос при помощи масляной краски и кисти навел красоту на судно, приговоренное к смерти. Это было дико, но потом мы привыкли к тому, что боцман Головин не умеет оставаться бездеятельным.

У нас бывали и свои неожиданные развращения, непонятные и не смешные там, где есть театры, кино, клуб: на нижней палубе с нами жили две огромных белых свиньи — неприкосновенный запас мяса на случай, если нам придется зимовать во льдах. Как-то раз, в вечно спокойном ледяном поле боцман Головин распорядился вычистить свиной хлев. Животные были переведены в другое помещение. Когда их выпустили оттуда, оказалось, что они с ног до головы выкатались в черной масляной краске. Вместо белых свиней у нас стали черные; настолько черных свиней в природе не бывает, и это было очень смешно.

Вся команда была поднята на ноги. Вахтенный штурман покинул свой пост на капитанском мостике. Вызвали на палубу даже научных работников экспедиции во главе с профессором Визе. Сейчас, конечно, это кажется диким, и я не думаю, чтобы сегодня две

свиньи, выкрашенные масляной краской, способны были бы вывести меня из душевного равновесия.

Когда нечего было делать, Бабушкин любил наблюдать полет птиц. Морские птицы похожи на гидроплан. Они садятся на воду, плывут по воде и вновь поднимаются с поверхности моря, как юнкерс, поставленный на поплавки. Самое интересное зрелище в птичьем мире—это воздушный бой. Ничто так не пачкает ослепительной белизны снежного покрова, как присутствие человека. Стоило только „Малыгину“ на час, на два остановиться в определенном месте ледяного поля, как окружающий снег немедленно покрывался окурками, коробками из-под папирос, какими-то тряпками, бумажками, объедками пищи, сором. Эта профанация красоты полярных льдов так шокировала писателя Яковлева, что он даже избегал в эти дни ходить на палубу. Но чайки, должно быть, видят иначе красоту—их не отпугивала неряшливость людей. Из объедков они устраивали радостное пиршество.

Тогда появлялись поморники-разбойники — большие, серые и мохнатые. Они долго кружились сначала высоко в небе, затем все ниже и ниже спуская спиральную линию своего полета. Потом начинался воздушный бой. Поморник-разбойник в несколько раз больше чайки, но с несколькими чайками одновременно он справиться не может. Птицы садились на лед, на воду, ныряли и кувыркались в воздухе.

Во время одного такого боя я как-то наблюдал за Бабушкиным. Он смотрел на птиц не отрываясь и переживал, должно быть, особенно острое чувство

Таким особенным взглядом смотреть на летающих птиц может только человек, который сам летает как птица.

Полеты чаек, разбойников, гагар и полярных гусей так же строго согласованы с законами воздухоплавания, как и авиация. Когда чайка наелась, когда она перегружена, ей очень трудно подняться с воды. Она берет разгон, отрывается, проваливается в воду, отрывается вновь, иногда вынуждена отдохнуть и лишь после этого начать полет сначала.

Наш юнкерс был всегда перегружен, и ему трудно было оторваться ото льда. Секрет формулы спасения Нобиле заключался в возможности погрузить на самолет максимально большое количество бензина. Поэтому Бабушкин никогда не брал с собою больше одной шубы и одной винтовки. Это были самые тяжелые предметы на самолете. Несколько раз приходилось даже летать без подушек на сиденьи, потому что вместо них можно было взять лишних десять литров бензина.

Так родилась у нас мысль устроить на полупути к остаткам дирижабля Нобиле бензинную базу. „Малыгин“ был крепко затерт во льдах, и в ближайшие дни не было никакой надежды хоть сколько-нибудь продвинуться вперед.

С высоты в 500 метров ледяная пустыня является плохим объектом наблюдения. 20 иностранных самолетов в течение полутора месяцев не могли увидеть красной палатки итальянцев и не замечали их сигналов. На бензинной базе должен был остаться человек

для того, чтобы привлекать внимание летчика, когда он будет пролетать над бидонами с бензином и не увидит их.

У нас, на „Малыгине“, нашелся человек, который хотел остаться на бензинной базе. Он набрел на эту мысль не в погоне за сильными впечатлениями и не необыкновенность приключения толкнула его на этот шаг. Полярные льды, которые он увидел впервые, поразили его неожиданным богатством красок, впечатлениями бесконечного простора, которое они излучают. Перспектива остаться одному на несколько суток в ледяной пустыне заслонила в нем все другие мысли, возникающие в уме человека, решающегося на такой шаг. При этом мысль об опасности вряд ли возникала у него в сознании: он привык всю жизнь делать только то, что нужно, а не то, что можно.

Но начальник экспедиции профессор Визе посмотрел на это дело иначе. И для него мысль об опасности для человека, который останется на бензинной базе, была не второстепенным соображением.

— Бензин мы можем бросить в любую минуту, — сказал он, — а вас придется спасать, быть может, несколько недель. Это отвлечет нас от прямой задачи и может причинить массу хлопот. Нет, уж лучше оставайтесь.

Человек, который хотел остаться на базе, остался на ледоколе. Для устройства бензинной базы полетел Бабушкин, бортмеханик Грошев и оператор Совкино Валлентей. Судовой врач много часов просидел над составлением списка неприкосновенного запаса пищи.

Минутами он увлекался и разговаривал сам с собою. Хотя он бесконечное количество раз повторял слова: калорий, витамины,— главную роль в этих вычислениях играли все-таки граммы. Бабушкин сказал, что в таких обстоятельствах литр бензина равноценен человеческой жизни. Список наконец был составлен. Я видел маленькую корзину с продуктами, которая должна была на случай катастрофы поддерживать жизнь трех человек в течение двух недель. Когда оператор Совкино Валлентей поволок к самолету тяжелый аппарат со стативом, Бабушкин сказал, не задумываясь:

— Хорошо. Тогда выкиньте полпуда сухарей, а то мы не оторвемся.

Мы все вышли проводить наших товарищей, которые летели на остров Короля Карла для того, чтобы устроить базу в ледяной пустыне. На английской карте, на одном из выступов острова Короля Карла, нарисован крест и написано: „Церковь“. Нигде больше об этой церкви ничего не сказано, она не существует в природе, это—чья-то досужая выдумка. Но в тот момент мы подозревали, что этот крест означает, быть может, временное становище древних поморов. Может быть, там есть дом и в нем можно жить. Может быть, возле этого дома есть ледяной припай и на нем можно будет в безопасности сгрузить банки с бензином.

Тяжело нагруженный юнкерс оторвался от льда еле-еле, как чайка, наевшаяся доотвала. В окно кабинки улыбался Валлентей. Бабушкин сделал два круга над „Малыгиным“ и, поднявшись высоко, взял курс

на север. На ледоколе, по распоряжению профессора Визе, прекратили действие все три радиостанции, и радисты стали ловить первые вести с самолета. Через час в громкоговоритель раздался хриплый голос Валлентея:

— Алло! Алло! Я хочу вас слышать...

Потом что-то треснуло, засвистело и смолкло. Радиосвязь прекратилась. Когда в Москве шалит радиоприемник, мы идем ругаться в магазин Госшвеймашины или пишем письмо в „Рабочую Газету“. Здесь жаловаться было некому. Нам оставалось только ждать. Кинооператор Валлентей ждал тоже и время от времени крутил ручку, не отрывая взгляда от карты и давая Бабушкину поправку на курс. Он заснял тень от юнкерса на льду, ледяные разводья и бесконечный простор снежной пустыни. Самолет мягко вздрагивал на виражах. Иногда Бабушкин и Грошев наклонялись и кричали друг другу что-то в ухо. Самолет был один в воздухе над льдами. Внизу под ним была бездна и голодная смерть. Три человека в воздухе с необычайной остротой чувствовали, что они летают в местах, которые много сотен лет были могилой всех человеческих дерзаний. Летчик Арктики, как никто, чувствует себя царем природы.

Прошло больше двух часов, когда Бабушкин просунул в окно кабинки записку, передав Грошеву руль управления. Было написано:

„Можете снимать остров Короля Карла. Направо, в тумане“.

У пилота большее поле зрения, чем у наблюдателя в кабине. Валлентей бросил в сторону карту, навел

на фокус и закрутил ручку. Бабушкин шел на снижение. Залив Виктория явился громадной черной подковой. Вершины скал, запорошенные снегом, открывали местами черноту камня и ослепительную голубизну глетчеров. Сказочный остров, безлюдный и совершенно неподвижный в своем застывшем величии, был виден как на ладони. Только северная часть его мягко таяла в тумане.

Снизу необыкновенно быстро приближались ледяные торосы. Бабушкин искал места для посадки. Самолет вздрагивал все чаще и чаще от движения руля глубины. Перегибаясь от одного окна к другому, Валентей неустанно крутил ручку. Когда механизм аппарата заел, пленка кончилась и оператор стал менять каскетку, самолет вздрогнул последний раз и заскользил по льду. Бабушкин сел.

Самолет встретили белые медведи. Их было три сразу, и вид людей был для них столь же неожидан и необычен, как и их появление — людям. Белые медведи отошли шагов на двадцать и с большим любопытством следили за действием летчика. Им первый раз в жизни приходилось видеть таких маленьких черных тюленей, которые ходят стоя, а не ползут.

Бабушкин убил одного медведя, потому что это было мясо, запас пищи на много недель. Ледяной припай, казалось, был тверже камня; такой лед отрывается от берега раз в два—три года; здесь было хорошо, и люди стали сгружать баки с бензином на снег.

Туман прошел у них над головами, обволокнул силуэт самолета, людей и медвежью тушу всего на

несколько минут. Туман шел к югу, туда, где вмерз в лед „Малыгин“; он преграждал обратный путь, и спешить поэтому было некуда. Бабушкин и Валлентей взяли винтовку и пошли к суше. Отвесные громады острова Короля Карла темнели вдаль перед ними, едва просвечивая сквозь туман, как стены сказочной крепости. Над их головами, кружась, летели сотни птиц, наполняя воздух резкими криками. Ледяная пустыня была величественна в своем безмолвии. Берег оказался гораздо дальше, чем им казалось. Они шли несколько часов, проваливаясь в снег. Оператор Валлентей устал, и Бабушкин, передав ему винтовку, взвалил на плечи тяжелый киноаппарат.

Наконец они увидели берег. Скалы острова Короля Карла вблизи были просто страшны. Полярный лед, несравнимый ни с чем, бледнел и как бы растворялся перед сверхъестественной мощью гранитных глыб. Сверху от глетчера неся отдаленный гул, напоминающий шум горного водопада. Люди отдохнули на камнях и начали взбираться наверх.

Подъем был необычайно труден и продолжался много часов. Камни, плоские и обточенные веками, как сломанные куски асфальта, скользили под ногами. Шум водопада все приближался. Скоро Бабушкин и Валлентей перестали понимать друг друга.

Они достигли громадного плато, самой низкой из всех вершин острова. Черный, как уголь, гранит был испещрен расщелинами, засыпанными снегом. Справа с вершины скалы свешивалась громадная бирюзовая глыба—сползающий глетчер, обломок которого когда-

нибуть упадет в море и поплывет ослепительно ярким айсбергом. Водопада не было. Все огромное пространство плато было усеяно птицами, сотнями тысяч, миллионами. Куда ни падал взгляд, всюду живой грязносерой массой копошились крылья, головы, отдельные перья. Птицы кричали.

— Здесь на несколько миллионов гагачьего пуха, — пошутил Бабушкин. — Мы — миллионеры.

Люди поставили на скале сигнал для того, чтобы с самолета в следующий раз можно было определить, в каком месте на льду находится бензинная база. Потом они три раза выстрелили в воздух для того, чтобы известить бортмеханика Грошева о своем скором возвращении. Выстрел разнесся далеко в необъятное пространство, подобно громовому раскату обваливающихся скал. Десятки тысяч птиц, испуганных звуком выстрела, одновременно поднялись в воздух, и ветер от движения их крыльев был так силен, что оба человека зажмурили глаза. Потом летчик и оператор стали спускаться.

Они набили карманы плоскими камешками — обломками скал для того, чтобы привезти их людям, оставшимся на „Малыгине“, людям, которые никогда не увидят красоты острова Короля Карла. Внизу, в заливе, возле самолета бортмеханик Грошев жарил медвежатину на сухом спирте. Три человека во льдах поели и прилегли отдохнуть.

Каждые полчаса приходили медведи. Казалось, что они передавали друг другу о присутствии на острове неизвестных живых существ. Как ни похожи медведи

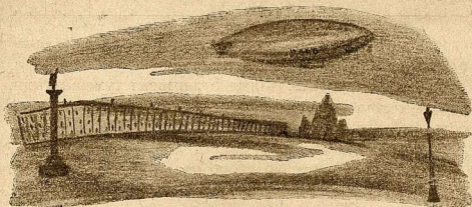
друг на друга, но все же казалось, что они—разные, быть может, родственники или хорошие знакомые.

Бортмеханик Грошев пустил в них несколько ракет, потому что любопытство белого медведя было чрезвычайно опасно, если не для людей, то для самолета.

Страшная усталость сломила летчиков. Когда они очнулись, под стабилизатором, положив мохнатую голову на лапу, спал большой медведь. Он сладко улыбался во сне, вдыхая запах теплого машинного масла, и видел, должно быть, дивные сны. Бабушкин прогнал его, путив ракету.

Потом люди улетели. На снегу в заливе Виктории осталось несколько жестяных баков с бензином, мусор от временного человеческого жилья и несколько аршин красного кумача. Все это стоит или плывет в полярных льдах и поныне. Бабушкин на базу так и не вернулся. Не пришлось.

Самолет вернулся к ледоколу лишь на вторые сутки. По дороге он останавливался, застигнутый врасплох туманом. Валлентей дважды раскачивал крылья юнкерса и, обдирая кожу на пальцах, вскакивал в самолет на ходу. Даже без запасных баков юнкерс был страшно тяжел: лыжи глубоко вязли в тающем снегу, и подняться было очень трудно. Когда самолет прибыл к „Малыгину“, оператор Валлентей с улыбкой победителя нес подмышкой несколько катушек заснятой пленки.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ШЕСТЬДЕСЯТ И ОДИН

I. „ОСТАВЬТЕ ВСЯКУЮ НАДЕЖДУ!“

В английской лоции, в мореходном описании, про остров Надежды известно лишь то, что он расположен не там, где обозначен на картах. Потом также сказано, что на этот остров не ступала нога человека. И в заключение говорится, что судам с осадкой выше пятнадцати футов категорически запрещается подходить к нему ближе, чем на десять миль.

Я прочел английскую лоцию, написанную старым умным адмиралом, когда мы находились на „Малыгине“, имеющем 21 фут осадки, на расстоянии двух миль от острова Надежды. Льды, всегда презрительно спокойные, на этот раз изменили свое настроение. В воздухе стоял треск, во много раз превосходящий шум комбинированной ружейной и орудийной пере-

стрелки. Начиналось сжатие. Ветер крепчал. Льды с оглушительным треском налегали друг на друга, ломались, крошились. Когда отдергивал туман, остров Надежды являлся нам во всей своей девственной красоте — строго очерченная груда черных скал и ослепительно голубые ледники.

„Малыгина“ чересчур скоро несло на рифы. Старый английский адмирал все-таки, повидимому, был прав. Много позже, когда я прочел радио шведского летчика Лундборга, адресованное его королю, я понял, что льды имеют некоторое свойство, ускользающее от московского журналиста. Летчик Лундборг телеграфировал:

„В этих широтах при этом льде работать невозможно. Здесь могут летать только русские или сумасшедшие“.

Летчик Лундборг все-таки взял на борт генерала Нобиле с его белой собачкой, которая второй раз увидела полярные льды. Больше летать он не захотел. Когда жестокий ледовой шторм нес нас на скалы острова Надежды, летчик Бабушкин отсутствовал третий день. И хотя в шлюпки на „Малыгине“ уже укладывали пресную воду и продукты, а радисты обдумывали технику спасения хотя бы одного передатчика, мы не могли не думать о том, как три полуголодных и измученных человека где-то далеко в тумане и льдах пытаются отнять у шторма маленькую дур-алюминиевую птицу — свое единственное спасение.

Некоторые однако судили иначе. Когда Бабушкин через два дня взшел по мосткам на борт и, не сги-

баясь от пяти бессонных суток, поднялся на капитанский мостик, спросив всего лишь: „Ну как, все целы, ребятки?“ — губернатор Шпицбергена, очень отзывчивый человек, телеграфировал норвежскому правительству:

„Летчик Бабушкин, возвратившись после пятидневного отсутствия на ледокол „Малыгин“, застал всех живыми и здоровыми“.

Губернатор Шпицбергена верил в то, что шторм не ломает Бабушкина, и, кроме того, он верил в английскую лоцию и считал, что невозможно плавать там, где плавать невозможно.

Бабушкин привез с собою самолет со сломанной лыжей, ведро медвежьего мяса и ворох разбитых иллюзий. Впервые с полной очевидностью мы ощутили разницу между семьдесят седьмой параллелью и московским аэродромом. Но все это было потом, а раньше было вот что.

Льды закрутили „Малыгина“ волчком. Ледокол ложился на бок, вставал на дыбы и снова ложился. Как в кинематографе, туман то показывал нам вершины острова Надежды, то прятал их от нас. Все было как в сказке. Бывали долгие минуты, когда мы не знали, куда несет нас: на смерть или от смерти. В самую страшную минуту, когда капитан велел отдать штур-троссы, то-есть освободить руль для того, чтобы его не сломало, из радиорубки показался телеграфист. Нельзя сказать, чтобы он шел к капитанскому мостику, — он полз. Ежесекундно его бросало от фальшборта к стенам рубки. Он падал, катился назад, снова полз

вперед, держа в руках белую согнутую вчетверо бумажку. По инструкции Совторгфлота, он обязан был вручить телеграмму немедленно, если она срочная. Шторм его не касался: он выполнял какой-то пункт инструкции, кажется, двадцать седьмой.

На его пути возникло неожиданное препятствие. Из рубки, выдавив дверь, без всякой посторонней помощи вылетел на спардек штатив кино-оператора Валлентея. Штатив катился по палубе, сверкая в воздухе острыми металлическими наконечниками своих ножек. Поймать его было невозможно, потому что кто же согласился бы попасть на острие копья, которым руководит стихия. Штатив надел на себя радиста, как кусок шашлыка на вилку. Оба едва не свалились за борт. Но радист победил, и штатив был водворен в рубку.

Как-раз в эту минуту „Малыгин“ лег на бок и с правого борта густым пластом полез битый лед. Радист снова упал, в последний раз, но все же вручил адресату срочную телеграмму. Радио предназначалось для корреспондента одной из московских газет Островского. И в этом радио было сказано буквально следующее: „В связи с окончанием вашего отпуска немедленно возвращайтесь в распоряжение редакции“. И подпись.

Момент был очень серьезный. За все время месячного плавания во льдах „Малыгин“ никогда не был так близок к тому, чтоб из спасителя превратиться в спасаемого, но мы все смеялись, как дети. В строгой телеграмме редакции, автор которой, повидимому, ру-

ководился соответствующим пунктом коллективного договора, было совершенно неограниченное количество неподдельного юмора. Во всяком случае, капитан Чертков хохотал неимоверно.

Ледяной шторм трепал нас сутки. Потом ветер начал стихать, но движение льдов не прекратилось. Туман рассосало совсем. Остров Надежда был рядом с нами, мы почти обогнули его кругом, и трудно даже было обвинять его в чем-либо—настолько презрительно величавы были его ослепительные вершины. Рифы были где-то тут, совсем близко. Английская карта, которая знает об острове Надежды лишь то, что он обозначен там, где не находится на самом деле, об этих рифах нам ничего не могла сказать.

Я долго недоумевал, глядя на остров Надежды, какие мысли руководили мрачным юмором человека, назвавшим так это зловещее место. Впоследствии старая книжка о полярных путешествиях разъяснила мои сомнения. Остров по-настоящему называется: „Оставьте всякую надежду“. „Надежда“ — это просто только для сокращения.

И была еще одна незабываемая минута. Прямо перед нами, там, куда нас влек дрейф льдов, появились два гигантских айсберга, два обломка сползающих в море глетчеров. Айсберги крепко сидели на мели. Они были страшно голубые и так светились, как-будто бы солнце пронизывало их насквозь. Один из таких айсбергов когда-то в туманную ночь у берегов Нью-Фаундленда пустил ко дну океанский пароход „Титаник“.

Капитан Чертков стоял на мостике, скрестив руки на груди. Руль был освобожден, машины — в готовности, но не работали: льды были сильнее ледокола, и управлять им было невозможно. Потом случилось так, как часто бывает в американских трюковых фильмах: на рельсах сидит девушка, и на нее мчится курьерский поезд. Поезд проносится мимо зрителя, а потом девушка медленно поднимается с земли, — она невредима.

Нас пронесло между двумя айсбергами, как в американской трюковой фильме. У правого фальшборта стоял кино-оператор Валлентей и бешено крутил ручку. Рядом со мной писатель Александр Яковлев, не отрываясь, жадно глядел на голубой лед айсберга и время от времени шептал:

— Господи, какая красота.

Когда эта красота наконец осталась позади нас, капитан крикнул что-то в рупор, и винт снова заработал после перерыва во много часов. Мы вошли в полосу льдов, где можно было кое-как плавать. Потом нас прижало к большому ледяному полю. На острове Надежды невооруженным глазом видны были птицы.

А на рассвете прилетел Бабушкин. Когда раздался шум пропеллера, ему на снегу настелили красный кумачевый сигнал, указывающий направление ветра. Но летчик Бабушкин вез с собою двух живых людей, которые боролись со смертью пять суток. Он управлял аппаратом, который вверило ему государство для спасения экипажа Нобиле. Он не поверил нам — людям,

находящимся на земле, — юнкерс сделал пять больших кругов в воздухе над островом Надежды и над „Малыгиным“. Потом Бабушкин сел не там, где был положен сигнал, а много правее: там было лучше.

Спотыкаясь в проталинах, обгоняя друг друга и крича что-то несвязное, мы все бросились ему навстречу.

Бабушкин рассказывает:

— Три человека — пилот, механик и наблюдатель, — которых привлекли на полюс не честолюбие, не жажда наживы, а лишь международная солидарность завоевателей культуры, притянутые на лед жестоким полярным туманом, спустились на самолете в необъятной пустыне Арктики. Эти люди летели от радио, электричества и трамвая для того, чтобы спасти чужие жизни, погибающие на полюсе. Все трое знали друг друга лишь недавно. Общее у них было лишь то, что им нечего было терять и не было для них на свете ничего такого страшного, что могло бы их отпугнуть от исполнения долга.

Самолет тихо сел на гладкую льдину, чуть-чуть накренившись влево. От предыдущих неудачных посадок треснули связки левой лыжи, и в этой лыже была смерть. И потому пилот прежде всего соскочил на землю и осмотрел ее.

На самолете было два компаса. Один — у пилота, другой — у наблюдателя. И оба показывали разное. В этих местах всегда гуляют магнитные бури, морское дно таит в себе массу неразгаданных тайн. Часто во время арктического полета картушка компаса вертится

как карусель и летчик мгновенно теряет направление.

Три человека сели у самолета на снег и стали обдумывать свое положение. Туман делал дальнейший полет равносильным самоубийству. Такие туманы в этих широтах держатся несколько недель. Запасы бензина давали самолету возможность держаться в воздухе не больше четырех часов. В кабинке был запас продуктов на одну неделю, винтовка и сто патронов. Ближайшее человеческое жилье находилось где-то на Шпицбергене, ближайшие люди — в 400 километрах, на ледоколе — игрушке стихии, нуждающейся в помощи.

Тогда летчик, по молчаливому согласию остальных двух, принял на себя командование. Он велел принести из кабинки припасы и разложить их на снегу. Жизнь трех человек заключалась в сухом спирте, десяти банках консервов, небольшом количестве сухарей, и 8 плитках шоколада. Потом была еще винтовка и патроны. Пока механик варил пищу на самодельной спиртовке, летчик и наблюдатель пошли искать медведя. Они убили его беззлобно и несколько часов тащили его к лагерю. Это была пища на две недели. Неосторожно пролитый бензин зажег карту, и карта сгорела. Тогда три человека в ледяной пустыне улыбнулись и пожали друг другу руки.

Издали доносился нарастающий гул. Где-то ломало льды. Потом под самолетом треснул аэродром и поднялась снежная вьюга.

Пилот, механик и наблюдатель в течение 30 часов таскали самолет по льду в разные стороны, спасая его

от ветра и водяной бездны. За сутки лица их совершенно изменились и приобрели тот вид, который в иллюстрированных журналах бывает у полярных исследователей после возвращения из путешествия. Наконец буря успокоилась.

Ледяной шторм слегка повредил уже поврежденную лыжу и утащил под лед тушу медведя, винтовку и все патроны. Но самолет был цел, целы были и люди, и в этом было их спасение.

На них свалился сон такой тяжелый и глубокий, который знают только люди, борющиеся со смертью в Арктике. Когда они проснулись, туман был все еще непроницаем. Летчик взял кусок бумаги и строго распределил все продукты на две недели. Голодный паек! Когда механик стал перебирать в каюте эти жалкие крохи, на которых держались три человеческих жизни, он издал удивленное восклицание: вместо 8 плиток шоколада было только семь.

Катастрофа свалилась неожиданно, и смысл ее был так ужасен, что люди, обреченные на смерть, оторопели. Кто-то из них во время сна своих товарищей обокрал их. Кругом на много сотен миль не было ни души, ни человеческого правосудия, ни законов, ни морали. Среди них находился вор, который украл у двух остальных кусок жизни, ничтожный кусок шоколада, который на культурной земле часто валяется под ногами. И это было ужасно.

Тогда летчик, который, должно быть, лучше двух других знал житейские бури, встал и направился к самолету. Он пробыл на нем больше часа и перевернул

вверх дном все в кабине. Когда его большая фигура спускалась на лед по ступенькам, казалось, что он постарел на много лет. Шоколада не было.

Бывают такие минуты в человеческой жизни, которым нет названия. Каждый из трех в душе обрадовался тому, что не было винтовки, потому что кто знает, что может стать с человеком, обреченным на смерть, когда он хочет умереть с полным сознанием своего достоинства и на его голову сваливается такое несчастье. Люди сидели молча на льду и не глядели друг на друга.

Потом летчик встал и улыбнулся.

— Одну плитку мы съели еще позавчера, — сказал он. — Вот чудачки, стоило ли волноваться!

Двое других в душе благословили его за нечеловеческую выдумку, но тревога в душе, конечно, не исчезла. Величайшее предательство было налицо, и выдумку приняли только потому, что с ней было легче умереть.

Скоро борьба за жизнь возобновилась. Туман рассеяло как по волшебству, и механик завел пропеллер. Лыжи самолета глубоко вмерзли в лед. Летчик напрасно давал полный газ, так что воздух со свистом сотрясся от оборотов винта и наблюдатель, который, стоя по колени в снегу, раскачивал крыло самолета, валился с ног, снесенный ураганной струей воздуха. Самолет отрывался от снежной поверхности долгие часы. Полумертвые от усталости люди, мокрые в своих меховых одеждах, много и много раз начинали сначала. Спасение было близко, под рукой, но ледяная пустыня крепко держалась за свою жертву.

Бортмеханик правее ближайших ледяных торосов заметил большое почти гладкое поле. Поверхность его была испещрена голубыми пятнами — талой снежной водой, покрытой только ледяной коркой. Летчик дал малый газ, и самолет медленно пополз по этому полю. На поворотах механик и наблюдатель всей своей тяжестью висли на одном из крыльев, вокруг которого совершался вираж. Между торосами было очень много снега. Один раз механик, который был небольшого роста, провалился по плечи, и его чуть не смяло хвостом. Но летчик во-время заметил опасность. Уткнувшись лицом в снег, механик пропустил над своей головой кость хвоста и, выкарабкавшись из снега на поверхность, снова принялся за работу.

Часа через два самолет удалось провести через торосы к полю. Люди едва держались на ногах. Летчик был измучен больше всех. Стекла его полярных очков запотели от учащенного дыхания. Расстегнутый шлем обнажал на подбородке небритую щетину. Сквозь мутные стекла очков блестели красные воспаленные глаза.

Механик и наблюдатель присели покурить на ближайшем торосе. Летчик не курил, но тоже присоединился к остальным. Говорить было не о чем, потому что все было ясно без слов. Вдали, то приближаясь, то отдаляясь, нарастал многоголосый гул. Где-то ломало льды, и было ясно, что, если самолет в ближайшее время не улетит, его аэродром превратится в груды битого льда. Тогда лететь уже будет некуда. Выдержать же вторую битву с ледовым штормом люди

были не в состоянии. Через полчаса борьба за жизнь возобновилась. Бортмеханик и наблюдатель, вооружившись винтовкой и французским ключом от самолета, стали расчищать площадку для подъема. Вскоре они бросили эти ненужные орудия и принялись за работу вручную. Широко расставив ноги и наклонившись всем корпусом вперед, механик отламывал от торосов громадные глыбы льда и катил их по снегу в сторону. Наблюдатель руками разглаживал снег и винтовкой мерил глубину проталин. Снежное поле тянулось, вероятно, на несколько миль, но самолету всего нужно было двести пятьдесят квадратных метров абсолютно ровной площадки; такие площадки иногда создает сама природа, но сейчас, после сжатия и шторма, поверхность льда была испещрена выступами и ямами. Люди работали без усталости еще много часов.

Туман убрало совсем как по мановению волшебной палочки. С беспощадной настойчивостью светило яркое полярное солнце. В воздухе было очень тепло, люди сняли кожаные куртки и все-таки обливались потом. Кругом со всех сторон слышались вздохи и легкий треск. Снежный покров медленно подтаивал.

Летчик сел один в машину и решил попробовать прочность площадки. Механик и наблюдатель остались, совершенно измученные. Они легли животом на снег и пили ледяную пресную воду прямо ртом из маленькой голубой лужицы. Летчик дал полный газ, и лыжи уверенно заскользили по площадке. Когда самолет проходил над самой большой проталиной, люди, которые пили воду, издали испуганный возглас и побежали

вперед, спотыкаясь, по снегу. Весь самолет сильно накренило в сторону. Правая лыжа вместе с частью шасси ушла в воду. Тонкая ледяная корка, покрывающая проталину, не выдержала тяжести юнкерса. Он провалился. Правое крыло глубоко врезалось в снег, левое крыло беспомощно обращено было к небу.

Три человека вытаскивали самолет еще целых долгих два часа. Грохот от ломающихся льдов приближался все ближе и ближе. Спасая правую лыжу, наблюдатель провалился в проталину и неожиданно исчез в ней совершенно. Красивая голубая лужа оказалась западней. Лед подтаял насквозь, под самолетом была бездна океана. Наблюдатель вынырнул из-под льда и, как-то сразу побледневший, осунувшийся и окоченевший, с большим трудом выбирался на поверхность. Работа не подвигалась. Каждую минуту вторая лыжа могла также соскользнуть с поверхности льда. Тогда самолет прочно сел бы в проталину, и все было бы кончено.

Летчик еще один раз дал полный газ. Механик и наблюдатель привязали себя ремнями и, напрягая все свои силы, до темноты в глазах, уперлись коленями и ногтями в снег, как упряжные лошади. Самолет начал едва заметно вздрагивать, потом что-то треснуло, и он двинулся из западни вперед на снежную поверхность, правым крылом подмяв под себя наблюдателя. Но дело было сделано, и можно было лететь. Люди пробовали подняться еще много раз, но лыжи глубоко вязли в снегу, и это казалось невозможным.

Когда летчик высчитал, что на обратный путь бензину хватает уже в обрез, он попробовал в последний

раз. Пилот рванул на себя руль, и металлическая птичка взяла разгон по полю. Цепляясь обледенелыми пальцами за край крыла, наблюдатель вполз на животе в кабину.

Самолет несколько раз подпрыгнул на ледяных кочках, оторвался от снежной поверхности, провалился, снова оторвался и мгновенно взлетел вверх, забирая высоту.

В кабине было радио, которое работало только в воздухе. Это радио могло сейчас сообщить всему миру, семьям, знакомым, друзьям, что три человека, четверо суток боровшиеся со смертью, летят домой, на ледокол. Впереди было еще несколько сот километров пути, но ледяная гробница была внизу, далеко; они летели по воздуху, и воздух был им не страшен.

Самолет забрал 500 метров высоты, и летчик повернулся к окошку, крикнув в кабину, что можно разматывать антенну. Но радио молчало. Свалившись ничком между сиденьем и запасными баками, наблюдатель лежал, раскинув руки. Ему было безразлично. Он спал.

Ледокол возник неожиданно, как привидение. Он был окружен густыми клочьями тумана, сквозь который черной лентой пробивался дым. Внизу, на льду, как муравьи, суетились люди. Они стлали на земле большой красный крест, символ жизни и спасения.

Когда отшумел хмель первых приветствий, три человека уверенной походкой взошли по трапу. В такие минуты человек, даже вырвавшийся из объятий смерти, не может отказаться от некоторого кокетства. Наблю-



датель, только-что разбуженный от нервного сна, делал вид, будто он только-что проснулся у себя в постели. Летчик небрежным голосом, так, как-будто бы ничего не случилось, справлялся о здоровье оставшихся на ледоколе товарищей.

Когда механик и наблюдатель свалились мертвым сном в своей каюте, летчик, сняв меха, пошел к самолету. Через много часов он разбудил своих товарищей. Это была нелегкая задача, потому что им снились дивные сны о полярных льдах, которые они покинули несколько часов тому назад.

Лицо пилота было очень торжественно, и первый раз, быть может, за долгие годы жизни у него на глазах стояли настоящие слезы. В руках он держал истоптанную и вымокшую в бензине плитку шоколада. Он нашел ее, обыскав весь самолет и разобрав часть пола кабинки. Тогда три человека, не глядя в глаза, подали друг другу руки.

Я не знаю до сих пор, где в самом деле была найдена плитка шоколада, потому что изобретательность человеческого великодушия и благородство не имеют границ

II. РОАЛЬД АМУНДСЕН

Арктический июль расцветал на ледяных полях всеми цветами радуги. Слегка наклонившись на левый борт, как хромой человек в застывшей задумчивости, „Малыгин“ лежал неподвижно в колыбели многолетних торосов, и спящие машины не тревожили дымом его мощную трубу.

Время от времени, когда позволяла погода, с голубоватой площадки, утопанной ногами сорока матросов, поднималась металлическая стрекоза Бабушкина и высоко над нами парила в воздухе. Ледяные поля обступали нас нестерпимо тесно. В то время как там, у восьмидесят первой параллели, полузамершие и голодные итальянцы круглые сутки сверлили эфир тревожными позывными сигналами своей чудом уцелевшей радиостанции, „Малыгин“, несший им спасение, как большая рыба, выброшенная на песчаный берег девятым валом, беспомощно покоился в вечных льдах.

В густом воздухе Арктики крылья нашего юнкерса как-будто трепетали. Прикрыв воспаленные глаза темными стеклами полярных очков, Бабушкин искал во льдах, тянущихся на много десятков миль, таинственных трещин, которые своевольная природа время от времени предлагает в качестве фарватера судам, совершающим арктические плавания. Эти дни были решающими для нашего плавания. В тяжелой борьбе с полярными льдами, рискуя каждый день быть унесенными к самому северному полюсу беспощадным дрейфом ледяных полей, мы пробирались ощупью между скал восточного архипелага, и вся трагедия экипажа Нобиле и его спасения, как бесконечно скорбная вереница точек и тире, мелькала перед нами день за днем в эфире.

К северу от острова Короля Карла ледяной дрейф тащил нас прямо в направлении красной палатки генерала Нобиле. В те дни там уже работал „Красин“. Далеко к югу осталась бензинная база Бабушкина

в заливе Виктория. Дул резкий восточный ветер, и нас обволакивал время от времени густой молочный туман. Летать было невозможно, и Бабушкин целыми сутками стоял на капитанском мостике, вглядываясь в небо. Ледяное поле, в которое мы вмерзли, несло с заметной на глаз быстротой мимо бесконечной массы крупно-битого льда, простирающегося к востоку. Люди еще не научились точно угадывать ледяные маршруты, но где-то здесь, на расстоянии каких-нибудь 50 километров, могли находиться остатки дирижабля „Италия“ и здесь же, может быть тоже в непосредственной близости, шагали через торосы неутомимый Амундсен и его спутники.

Американский миллиардер Линкольн Эльсворт, который в течение всей своей жизни разменивал доллары, оставленные ему отцом, на сильные ощущения и в конечном итоге за недорогую плату приобрел для себя бесславную гибель в воздухе, писал когда-то об Амундсене:

„Я безумно люблю этого старого норвежского барина за то, что он так великолепно презирает богатство, без которого я лично, несмотря на все свои сумасбродства, никак не умею обходиться“.

Пусть это не покажется парадоксом. Роальд Амундсен, снарядивший десятки экспедиций, стоимость которых определяется в десятки миллионов долларов, всю свою жизнь был нищим в самом благородном смысле этого слова. Амундсен бывал принят королями. У него на дому власть, правительство бывали частым гостем только в виде судебного пристава. После каждой из

своих головокружительных экспедиций, результатами которых потом в течение нескольких лет захлебывалось культурное человечество, Роальд Амундсен, одинокий, старый, просиживал долгими часами в нетопленной квартире у застывшего камина. Библиотека великого путешественника, его личные вещи, разнообразные реликвии арктических и антарктических экспедиций всегда носили след красных сургучных печатей гражданского суда. Буржуазная интеллигенция щедрой рукой рассыпала у ног Амундсена признаки своего уважения и восторга перед его подвигами; в честь великого путешественника был опустошен не один цветник; широкой рекой лилось шампанское, однообразно звучали льстивые речи и каждый обратный путь Амундсена был усыпан настоящими красными розами, которые так любят скандинавцы, жители севера. Но никогда ни один из тех, который потратил сотни крон или долларов на роскошный букет, не задумался над вопросом, чем живет этот человек и насколько он в личной жизни материально обеспечен.

Роальд Амундсен был близок нам, потому что во имя идеи он растоптал свою личную жизнь. Будучи в науке диллетантом, случайным гостем, он, тем не менее, примером личной храбрости, неукротимой энергии, ценой своей собственной жизни двинул вперед на несколько десятилетий изучение обоих полюсов.

С замечательной, детски безмятежной улыбкой, которая так своеобразно шла к его аскетическому лицу, Амундсен часто любил говорить назойливым журналистам:

— О, нет, что вы! Какой же я ученый, я просто путешественник — и только.

Высокий лоб этого большого человека, который несколько раз пересек в разных направлениях земной шар, сделал достигаемым недостижимое и в течение двадцати пяти лет был бескорыстным знаменосцем великой исторической борьбы человечества со стихией, никогда не омрачался вопросами классовой борьбы. Как и большинство ученых-идеалистов современной эпохи, Амундсен считал себя стоящим выше социальных вопросов. С изумительным равнодушием фанатика он презирал как жизненные блага, так и „проклятые“ вопросы политики. С одинаковым невозмутимым достоинством он обнажил голову перед итальянским знаменем, падающим в люк дирижабля на льды северного полюса, и сказал несколько теплых слов об Октябрьской революции, получив сообщение о том, что советское правительство готово оказать всемерную помощь трансарктическому перелету. В сдержанных, но дружеских выражениях он немного позже благодарил нас за идеальную организацию встречи дирижабля „Норге“ в Гатчине.

Амундсен был романтиком полярных льдов. Его литературное наследство — несколько небольших брошюр о всех проделанных им экспедициях — ничего общего не имеет по духу и стилю с тем, что принято у нас считать научным исследованием. В докладах, сделанных им в мировых географических обществах, было всегда гораздо больше от романтики, чем от науки. Ученые всего мира с напряженным вниманием слушали

его медленную речь, изредка улыбаясь, когда Амундсен неожиданно оставлял в стороне сложные вычисления градусной сетки и с внезапно разгоревшимися глазами рассказывал о том, как белые медведицы кормят своих детенышей, или пытался изобразить, делая в воздухе неловкие жесты левой рукой, тот особенный голубой свет, который излучают ледяные торосы первого весеннего сжатия. Из материалов его докладов ученые потом составляли десятки томов научных теорий, но сам Амундсен никогда не писал научных книг, и ни один университет и ни одна буржуазная академия не удостоили его званием профессора.

Книги Амундсена пересыпаны поэтическими обрывками, стихами, песенками, анекдотами.

„Сфинкс“ нахмурил брови. Это ему не понравилось“.

„Сфинкс“ — это ледяной торос, нагромождение льда, прозванное так Амундсеном за свое сходство с подлинным сфинксом.

Замерзая на восемьдесят восьмой параллели в полярных льдах, Амундсен все же находил время для острот и шуток.

Он был замечательно скромнен—свойство, отличающее немногих буржуазных ученых нашей эпохи.

„Славные, славные ребята: они никогда не жаловались, но со смехом и песнями брались за самое безнадежное дело... Позвольте мне признаться откровенно и честно, что я не один раз считал положение совершенно безнадежным и немыслимым“.

С восторгом повествуя о подвигах своих спутников, Амундсен всегда пытался изобразить свою роль в орга-

низуемых им экспедициях как самую незначительную. Кропотливо собирая отдельные факты героизма других, Амундсен в отношении самого себя был всегда готов на самоуничтожение. Если внимательно вчитаться в строки его воспоминаний, то может даже создаться впечатление, что во всех этих экспедициях он был единственным трусом среди героев.

Записки Амундсена полны самых неожиданных отступлений на разнообразные темы. Часто в дни тяжелой борьбы с арктической стихией он с теплой лаской вспоминает о своей родине — Норвегии.

— Вперед, ребята, за отчизну и за все, что нам дорого! Пусть это будет сам дьявол, вали его с ног!

Таким возгласом Амундсен призывает своих спутников к решительному наступлению на громадную льдину, которая грозила раздавить самолет. Амундсен вспоминает о родине так, как это может делать человек, половину жизни проводящий вдали от нее, в полярных льдах. Он совершенно чужд чопорному шовинизму полярных исследователей других стран. В одинаково теплых выражениях он говорит и об Италии, и о Норвегии, и о всех тех странах, где ему пришлось побывать в поисках средств для новых экспедиций. Человек, бескорыстно отдавший свою жизнь на пользу человечеству, естественно, должен быть интернационалистом в самом широком смысле этого слова.

Имя Роальда Амундсена прогремело на весь мир, когда он с неутомимой энергией своих тридцати лет прошел впервые с тех пор, как существует мир, северо-западным проходом, соединив под самым полюсом Ти-

хий океан с Атлантическим. В то время Амундсен был самым молодым из полярных исследователей, и многие объясняли его успех особенностями молодости. Но впоследствии научному миру пришлось убедиться, что новый конкурент с каждой новой экспедицией становится все более молодым. Почти шестидесятилетний старик, который светлым июньским утром сел в Тромсе на французский гидроплан „Латам“ для того, чтобы отправиться в последний смертный рейс на спасение экипажа Нобиле, по сравнению со своими молодыми спутниками казался юношей.

„15 декабря была прекрасная погода. Температура показывала минус 23. После полудня мы остановились на отдых. По нашему вычислению мы уже достигли полюса. Мы укрепили роскошный флаг и торжественно его обступили. Однако на следующий день, произведя новые вычисления, мы убедились, что флаг водружен на 89,45 градусов. Мы унесли свой флаг дальше и стали вести новые наблюдения, продолжавшиеся беспрерывно целые сутки. Мы ежечасно отмечали положение солнца. Полюс! Он лежал на высоте 3200 метров над уровнем моря“.

Это — из дневника Амундсена в 1911 году, когда ему удалось достигнуть южного полюса. Экспедиция Амундсена продолжалась свыше 4 месяцев. За это время ему пришлось пройти свыше 300 километров в ледяной пустыне. Норвегия встретила своего национального героя с распростертыми объятиями. В витринах магазинов и кафе были выставлены портреты великого путешественника. Но на другой день, после

того, как отзвучали последние праздничные речи, Амундсен продал часть своей библиотеки для того, чтобы достать денег на жизнь. Свое личное состояние он давно уже растратил на организацию и подготовку различных экспедиций в период с 1903 по 1910 год. Сейчас он был уже нищим, и нужно было заботиться о нахождении средств к существованию. В июне 1918 года Амундсен направился из Норвегии на судне „Мод“ к Новосибирскому архипелагу, пытаясь повторить знаменитый дрейф Нансена через полярные льды, т. е. использовать естественное движение льдов для того, чтобы при помощи его достигнуть северного полюса.

Экспедиция на „Мод“ в общей сложности продолжалась около пяти лет. В ста милях к востоку от новосибирских островов „Мод“ вмерзла во льды и, встретив очень сильное сопротивление, вынуждена была зимовать вдали от суши. Лишь в сентябре 1919 года, спустя полтора года после начала экспедиции, судно вырвалось из сжатия и начало дрейф в чрезвычайно тяжелых условиях. Борьба продолжалась в общей сложности около трех лет, после чего Амундсен вынужден был вернуться к чистой воде, не достигнув цели. В августе 1922 года Амундсен снова входит в льды, имея на борту судна самолет. В траверзе острова Врангеля „Мод“ подхватывается северо-западным дрейфом; Амундсен делает несколько попыток подняться на самолете и, покинув временно судно, лететь непосредственно к полюсу. Один из полетов кончается поломкой аппарата, и Амундсен вынужден возвратиться домой, собрав колоссальный материал и полный планов новых воздушных экспедиций.

В 1924 году Амундсен предпринял турне по Соединенным Штатам и, отказывая себе во всем, копил деньги, вырученные от публичных лекций, для организации новой воздушной экспедиции непосредственно со Шпицбергена на северный полюс. Но дело подвигалось медленно. Американские научные общества, университеты и профессура устраивали в честь Амундсена банкеты, говорили пламенные речи, но деньги поступали микроскопическими дозами. В день одной из наиболее крупных неудач Амундсен высчитал, что, если так будет продолжаться, ему лишь через шесть лет удастся скопить средства, необходимые на первые организационные расходы. Однако великого путешественника не остановил столь долгий срок, как не останавливала его и прежде мысль плавать в вечных льдах многие годы. Он все же решил довести дело до конца и посвятить чтению лекций весь остаток своей жизни, лишь бы собрать средства, необходимые для полета на полюс.

Случай столкнул его с американским миллиардером Эльсвортом, и уже через два дня Амундсен перевел в Норвегию по телеграфу 85.000 долларов на имя своего друга и ближайшего помощника и пилота Рийсера Ларсена, который немедленно приступил к выбору типа самолета для предстоящей экспедиции.

В апреле 1925 года все подготовительные мероприятия были закончены. Амундсен и Эльсворт приобрели два двухмоторных гидроплана, зафрахтовали необходимые корабли, и экспедиция направилась к Шпицбергену для того, чтобы оттуда взять старт на полюс.

Об этой экспедиции Амундсена достаточно много в свое время писалось. Оба самолета достигли неслыханной до этого времени широты — 88 параллели. Один из аппаратов после двухнедельной нечеловеческой борьбы экипажа со стихией был истерт льдами в порошок. На втором самолете, преодолевая холод, туман и цепкие объятия ледяной пустыни, отважные путешественники возвратились на Шпицберген. Полюса все же достигнуть не удалось. Ошибка Амундсена заключалась в том, что он применил для этой экспедиции морские самолеты, способные производить посадку только на воду, а не на лед. Тем не менее технический и научный успех этой экспедиции был огромен. Вопрос о перелетах в Арктике с принципиальной точки зрения мог считаться решенным.

Учитывая опыт своей неудачи, Амундсен решил для следующей экспедиции попробовать использовать летательные аппараты легче воздуха, а именно — управляемый аэростат. Для этой цели после двадцатимесячной погони за деньгами Амундсен приобретает у итальянского правительства дирижабль полужесткой системы конструкции полковника Умберто Нобиле. Сам конструктор отправляется вместе с Амундсеном в эту экспедицию. Экипаж воздушного корабля состоит из норвежцев и итальянцев, в числе ответственных руководителей экспедиции — несколько постоянных спутников Амундсена во льдах: пилот Рийсер Ларсен, механик Омдаль, метеоролог Мальмгрен и другие.

Северо-западный проход — Южный полюс. Северо-восточный проход — Шпицберген — северный полюс — Аляска. Вот жизненный путь Роальда Амундсена.

Известие об исчезновении Амундсена разразилось на „Малыгине“ как гром среди ясного полярного неба. Еще за несколько дней до того, как Москва дала нам распоряжение двинуться по следам великого путешественника, как-то ночью вахтенный радист принес в кают-компанию обрывок сообщения какого-то шведского корреспондента. Профессор Визе, спрятав утомленное лицо за старую газету, сидел в углу на диване, согревая в руке стакан красного вина. Последние газеты, которыми была снабжена библиотека „Малыгина“, прибыли из Москвы в Мурманск в день нашего отплытия. Удивительна у людей сила привычки. Хотя мы превосходно знали, что наши газеты имеют более чем месячный срок давности, тем не менее за утренним чаем почти каждый из нас машинально перечитывал в двадцатый или тридцатый раз знакомые телеграммы и статьи. Я лично все номера этих газет заучил почти наизусть. Профессор Визе имел обыкновение просматривать перед рассветом старый, пожелтевший и измятый номер „Бедноты“ почти каждый день со стаканом вина в руке. Вероятно, так читает он газеты дома в своем уютном кабинете на Васильевском острове в Ленинграде.

Через наушники наших радистов каждые сутки проходили десятки и тысячи иностранных слов, обрывки различных сообщений о ходе спасения экипажа Нобиле. Но радиограмма, которую он принес в ту ночь, была не из обычных.

Профессор Визе, не поднимая головы от газеты, протянул мне исписанный зеленый бланк и сказал:

— Если не лень, займитесь.

Буквы и слова запрыгали у меня перед глазами. Шведский язык я знаю плохо, но беспрестанное повторение имени Амундсена, слова „катастрофа“, „аэроплан“, „Тромсе“ сразу же дали мне понять, что речь идет о чем-то необычайно важном. И начальник экспедиции, насторожившись, оторвался от газеты и впился глазами в зеленый бланк. Потом он вдруг вскочил и быстро заходил по кают-компании.

Я никогда не знал этих людей, вылетевших в неизвестность ранним туманным утром из маленького норвежского городка, затерянного в кружевах фьордов. Этих людей сейчас разыскивает весь мир. Но мне знакомо место, откуда дал старт „Латам“. Город этот и сейчас выглядит так, как и много лет назад. Там маленькие белые домики под черепичными крышами утопают летом в садах, самое важное лицо в городе — консул — гуляет в полдень по главной улице, заложив руки за спину, и встречные, раскланиваясь, уступают ему дорогу; там на площади стоят таксомоторы, на которых некуда ехать; люди не знают там житейских бурь, и девушкам позволяют читать Гамсуна только после того, как они становятся невестами.

Мне рассказывали: в тот день, когда ветер волочил остатки дирижабля по торосам, Амундсен приехал в другой норвежский город, запрятанный в ущельях между гор. Улицы были украшены флагами, люди надели праздничные одежды, и во всех окнах в простых деревянных рамах были выставлены портреты полярного исследователя. Через несколько дней в ратуше

был банкет. Присутствовали ветераны полярных походов, моряки, механики, рыбаки, отцы и братья героев, погибших в Арктике. Амундсен говорил про свои разногласия с Нобиле. Он рассказывал, что во льдах нельзя летать ни ради спорта, ни ради славы, что это — наука. Люди, которые много раз уже слышали этот рассказ, пожирали Амундсена глазами, разинув рты, потому что впервые он сам рассказывал об этом. В разгар веселья раскрылась дверь, и вошел запыхавшийся телеграфист. Он принес первое „S.O.S.“ с итальянского военного судна „Читта ди-Милано“. Амундсен долгое время сидел, глубоко задумавшись. Через несколько дней он вылетел на „Латаме“ из маленького городка, затерянного в кружевах фьордов. Его судьбу разделили француз Гильбо, поспешивший променять праздную толпу аэродрома ле-Бурже под Парижем на беспредельные просторы полярных льдов, и летчик Дитрихсен, на лице которого эти льды не раз оставляли вокруг глаз сеть мелких морщинок.

Хотя судьба людей, рискующих своей жизнью для спасения других, должна интересовать каждого независимо от того, что эти люди собою представляют, тем не менее мы все почему-то почти равнодушно отнеслись к возможности гибели летчика Гильбо и его помощников. Имена этих покорителей воздуха запятнаны несмываемой кровью империалистической войны; десятки и сотни семейств в Германии оплакивают своих родных, жертв Гильбо — „истребителя бошей“, и почему-то у нас было такое чувство, что французский воздушный пират, быть может, понес заслуженное наказание.

Голубоглазый гигант Дитрихсен, никогда не отстававший ни на шаг от своего учителя и начальника, пошел спасать Нобиле, должно быть, потому, что риск жизнью во имя будущего человечества был его профессией. Старый Амундсен, славившийся тем, что во всех своих головокружительных путешествиях он ни разу в жизни не терял присутствия духа и не сделал ни одного неосторожного шага, повидимому, на этот раз, первый раз в жизни, рискнул на авантюру.

Возмущенный бездушным саботажем своих друзей и знакомых, стиснув зубы и замкнувшись в молчаливом презрении, старый полярный волк полетел на помощь Нобиле, не указав даже никому своего точного маршрута. Губернатор Шпицбергена в тот же день рано утром прислал нам радиограмму, вернее, истерический вопль о помощи.

„Все культурное человечество с упованием и благодарностью следит за действиями „Малыгина“, который ближе всех находится к району, где терпит бедствие великий Амундсен“, — телеграфировал он.

Между Тромсе и Шпицбергенем, среди пловучих льдов и бурного моря стоит черная скала Медвежьего острова. На этой скале есть радиостанция, которую бессменно два года обслуживает один телеграфист, молодой человек с воспаленными и безумными глазами. Каждые два года телеграфиста сменяют, и он возвращается к себе на родину для того, чтобы, восстановив здоровье, прожить накопленные за два года одиночества деньги. Мы с трепетом ждали ответа с острова Медвежьего. Этот ответ пришел лишь к полудню: са-

молета „Латам“ не видел ни радист, ни все те встречные суда, которые ему удалось опросить. Великий Амундсен улетел в неизвестность.

Профессор Визе ушел к себе в каюту для того, чтобы обсудить план действий. Его каюта, кажется, самая маленькая на судне, отличается чрезвычайной скромностью своей обстановки: койка, поставленная на комод, как повешенный в воздухе гроб, письменный стол площадью в 1 квадратный метр и настольная лампа с зеленым абажуром. В каюте начальника экспедиции воздух пропитан запахом одеколона и табачного дыма—обычная атмосфера кают холостяков на море.

Когда я, постучавшись, открыл дверь, профессор Визе сидел над картой, сжав виски нервными пальцами. Он посмотрел на меня отсутствующим взглядом и пробормотал:

— Амундсен погиб? Невозможно!

III. ПРИЗРАКИ ВО ЛЬДАХ

Говорят, что в стоге сена трудно отыскать иголку. Я думаю, что существует много образов убедительнее этого. Во всяком случае разыскать человека во льдах значительно труднее.

С самолета радиус обозрения в двадцать раз больше, чем высота полета. Если юнкерс идет в тысяче метров над землей, видимость равна примерно двадцати километрам. Вся эта площадь до бесконечности однообразна, и если внизу, во льдах, каждый торос имеет свои собственные, отличные, незабываемые очертания, то сверху

все они кажутся совершенно одинаковыми, как две капли воды похожими друг на друга. Поверхность ледяных полей испещрена паутиной синих жилок. Если лететь очень высоко, эта сеть жилок сливается в нежно-голубой налет на снегах. Зрелище это очень обманчиво: для неопытного глаза ледяное поле, сплошное и твердое, как камень, превращается в мелко-битый лед, потому что проталины сверху кажутся просветами воды.

Поверхность снежного покрова тает пятнами. С проталины набирается вода, которая излучает солнечный свет, пропущенный через призму ледяной массы. Оттого эти жилки голубые. В проталинах всегда пресная вода; она очень холодная, и ею хорошо напиться после работы. Гидрограф Лавров рассказывал нам, что к концу лета в снежном покрове ледяных полей образуются громадные озера безупречно чистой пресной воды. Полярные экспедиции, на многие зимы затертые во льдах, знают всю радость встреч с такими озерами.

Ветер, снежные бури и сжатие льдов лепят из торосов самые причудливые формы. Я видел нагромождения ледяных обломков, до нелепости похожие на статуи, на китайские пагоды, на небоскребы. За все время плаванья, глядя на какой-нибудь торос, мне ни разу не приходилось вспоминать, что те же очертания льда я видел где-либо в другом месте. Но сверху, с самолета, причудливая красота ледяных глыб сливается с общей массой ослепительно яркого поля. С высоты в пятьсот метров торосы не дают даже тени. Глаз едва-едва ощущает выпуклость ледяных гряд и видит

бесконечную сеть обманчивых голубых жилок. И это— все. Вот почему посадка на лед в тумане почти всегда равносильна самоубийству.

Катастрофа происходит очень просто. Расстояние между грядями торосов и отдельными рапаками невозможно определить на-глаз. Летчик идет на снижение, не будучи в состоянии точно рассчитать размеры своего аэродрома. Лыжи вязнут в предательских голубых жилках, пока грудь фюзеляжа не сталкивается с торосом. Так Чухновскому снесло часть шасси, обе лыжи и два пропеллера. А вот летчик Лундборг, возвратившийся к стоянке Нобиле для того, чтобы захватить с собою еще одного человека, вместе с самолетом перевернулся, сделал капот. И до прихода „Красина“ его металлическая птица лежала рядом с красной палаткой генерала Нобиле кверху лапками, как замерзший суровой зимой воробей. На исковерканных лыжах аппарата Лундборга профессор Бегоунк в течение десяти дней сушил белье и медвежьи шкуры. Вот почему Бабушкин, прежде чем сесть на лед, всегда делал много низких кругов над будущим аэродромом.

Когда люди долгими часами вглядываются в льды в поисках других людей, терпящих бедствие, они в конце концов начинают галлюцинировать. Ночью во время сна в глазах крупными хлопьями мелькает ослепительно белый свет и бесконечным хороводом красок проносятся световые пятна на голубом ледяном покрове.

Когда выше острова Короля Карла нас тащил к северу ледяной дрейф, все мы как во сне, так и наяву

тревожились замечательными видениями. Человеку больше всего страшно то, что необъяснимо и непонятно. Ледовой шторм, как ни опасны его последствия для судна, не вызывает паники, потому что каждая ледяная глыба, которая кружится вокруг ледокола, сбивая его стальной пояс, видна простым глазом и все действия ее понятны. Но если ледяное поле много часов и дней совершенно неподвижно, если целую неделю на льду у носа „Малыгина“ валяется одна и та же коробка папирос „Аллегро“, выброшенная летчиком Сергеевым, и тем не менее приборы показывают, что нас несет к северу с быстротой пятидесяти километров в сутки, — тогда в души людей поневоле закрадывается беспокойство.

Шестьдесят малыгинцев, которые уже испытали режим арктической пустыни, искали Амундсена и его спутников так, как свое собственное спасение. Как-то ночью меня разбудил вахтенный матрос. На капитанском мостике было необычайнолюдно. Резко вздрагивая от толчков, „Малыгин“ тихим ходом резал битый лед, ослепительно ярко светило солнце и лишь дальние торосы были чуть-чуть подернуты туманом. Старший штурман суетливо взбирался по трапу, неся подозорную трубу из капитанской рубки.

Впереди, на расстоянии нескольких миль, виднелись пятна, напоминающие человеческие фигуры.

Когда мы подошли ближе, капитан Чертков остановил судно, и вахтенные стали наводить трубу. Сквозь призму стекол с полной очевидностью явились нам два громадных тороса. В каждом из них чьими-то руками

была вырыта большая темная нора. В одной из них, спиной к нам, на коленях, в полном изнеможении, стояла человеческая фигура. Рядом виднелся серый овал—должно быть, спальный мешок. В другой норе человек лежал навзничь, закрыв голову руками. Весь снег кругом был испещрен пятнами так, как-будто там долго топтались люди.

Я помню незабываемую сцену на капитанском мостике. Стучаясь головами, мы сменяли друг друга у трубы. В первый момент ничего нельзя было разглядеть, потому что от волнения мы дышали в стекла и они немедленно покрывались мутным налетом. Вахтенный штурман явно нервничал. Судовой телеграф звонил беспрерывно. Общее возбуждение как-будто передалось „Малыгину“. Он судорожно болтался во льдах, ударяя то там, то сям и из всех сил стараясь пробить непроницаемую ледяную стену. Когда стало совершенно очевидно, что ближе, чем на несколько километров, к этим торосам подойти нельзя, мы все вздохнули в полном изнеможении, ибо за эти полчаса пришлось пережить больше, чем, быть может, за все время плавания.

Мы спустились по трапу, я и мой постоянный спутник во льдах — военный радист Плевако. Лыжи ощущались на ногах, как крылья, и не было другого стремления, как изо всех сил мчаться вперед. Куда ни глянь, необозримое пространство снежного покрова было покрыто голубыми пятнами — проталинами. Плевако шел впереди с длинным багром. Этот багор не раз спас ему жизнь, потому что во льду были глубокие трещины, доходившие до водяной бездны. Наши пояса были свя-

заны веревкой, лишние метры которой Плевако перекинул через плечо. Маленькие озера пресной воды покрыты тонким слоем льда. Если они были меньше лыж, мы проносились беспрепятственно, и талый снег только гулко стонал под нашими ногами. Если озера были большие, Плевако по пояс проваливался в воду и, погрузив руки по плечо в талый снег, ощупью разыскивал соскочившие лыжи. „Малыгин“ уже исчез за грядой торосов. Небо ослепительно ярко светило нам в глаза, снег кругом местами был покрыт бурыми пятнами арктических водорослей.

Когда мы наконец выбрались из лабиринта бесформенных ледяных глыб, перед нами легло необозримое ледяное поле, ровное как скатерть. Снова явился „Малыгин“. Он был сзади нас, казалось, совсем близко, и дружелюбно расстиралась над ним черная лента дыма из его трубы. Но видение исчезло.

На гладком участке ледяного поля возвышалась группа исполинских торосов. Призрак людей, терпящих бедствие, исчез; вместо них была замечательная картина, написанная природой на белом полотне снегов. Два самых больших тороса были покрыты большими круглыми пятнами цвета сепии: то, что мы приняли за норы, вырытые человеческими руками. Более темные водоросли причудливым узором напоминали двух людей, замерзших во льдах, и спальный мешок, небрежно брошенный к их ногам. Выпуклость обманчивой картины исчезла, оставив всего лишь плоские пятна.

Назад мы шли очень медленно. Плевако ежеминутно падал и ругался. Когда мы отогнули книзу отвороты

полярных сапог, из-под кожи фонтаном брызнула ледяная вода. Итти было очень тяжело, нас почти оставили силы.

Мы шли обратно много дольше, чем туда. „Малыгин“ подошел к нам ближе. На капитанском мостике было почти пусто. Там люди при помощи подзорной трубы еще раньше нас разгадали секрет видения. Исполнительные и бесстрастные, как всегда, вахтенные матросы бросили нам трап, и мы взобрались на судно.

Мы видели много таких обманчивых пятен на снегах в эти дни. Был расцвет арктического лета. Льды цвели. Водоросли самых разнообразных оттенков, от нежно-желтого до черного цвета, были разбросаны по торосам и по снежной равнине. До боли напрягая зрение, вахтенные штурманы буравили биноклями ледяную пустыню, но людей, которых мы искали, все не было. Были только бесконечные просторы льдов, торосы, разводья, тюлени и белые медведи.

„Малыгин“ повернул обратно к югу. Мы шли вдоль восточных берегов Шпицбергена, исследуя каждый километр ледяной пустыни. Резкий восточный ветер не утихал и гнал на сушу, ломая и кроша их по пути, десятки миллионов тонн крупно-битого льда. Целыми днями стоял густой туман. Верхушки мачт и края судна были видны с капитанского мостика. Каждые пять минут вахтенный штурман дергал сигнальную проволоку, и из никеллированной трубки с заунывным гудением вырывалась кипящая струйка пара.

Однажды мы услышали далекий ответный гудок. Капитан Чертков велел дать тихий ход и внимательно

следил за горизонтом, потому что в этих местах для судов, которые наскочат друг на друга, не бывает спасения. Лишь на вторые сутки мы увидели очертания какого-то корабля. Его выдавило льдами на воздух, весь киль лежал на снегу. Судно беспомощно раскинулось на левом боку, и кругом него по снегу бегали люди.

Мы дали средний ход вперед. Одновременно судовое радио стало на английском языке вызывать наших неожиданных спутников и спрашивать их, как к ним лучше подойти и какая им нужна помощь.

Это был норвежский промысловый пароход, снаряженный группой частных лиц для розысков Амундсена. Подводная часть его была еще цела, но все бимсы и внутренние укрепления лопнули под давлением ледяных полей. Нет более печального зрелища, как судно, терпящее бедствие; вынесенное всем корпусом на поверхность ледяного поля.

Вскоре радист принес нам ответ. В нем было написано.

„Алло, „Малыгин“! Все в порядке. Никакой помощи не нужно. Нас выжимает на лед дважды в сутки. Сейчас ожидаю отлива. Ищем Амундсена. Какой район вы обыскали? Что нового?“

Мы подробно сообщили этим смелым людям о результатах наших поисков. Высоко над „Малыгиным“ на мачте взвились сигнальные флаги „счастливого пути“, и вахтенный штурман молча взял под козырек, преклоняясь перед героизмом простых людей, которые не боятся льдов.

По дороге к Сторфьорду мы видели еще несколько норвежских парусников, разыскивавших своего пропавшего земляка. Некоторые из них были так малы по размерам и так беспомощны в ледяной стихии, что мы невольно задумывались над тем, что должны в такой момент ощущать люди, которые на этих судах плавают.

В беседе с корреспондентом одной из норвежских газет финский летчик Сарро, принимавший участие в спасении экипажа „Италия“, как-то заявил:

— Я спасу группу Вильери, даже если бы для этого мне пришлось погибнуть.

Спутников Нобиле спасли другие. Летчик Сарро также благополучно здравствует, хотя его интервью в свое время услужливыми агентствами было распространено по всему миру. Я видел людей на маленьких деревянных скорлупках, которые самоотверженно боролись со смертью во льдах, потому что они шли спасать человека, ради которого стоило рисковать жизнью. Я видел лица малыгинцев, когда их как-то раз всех вызвали ночью на палубу, потому что нам вновь в тумане померещились силуэты людей, шагающих через торосы. И я верю, что если Амундсен и его спутники живы, то найдутся люди, которые захотят и сумеют их спасти.

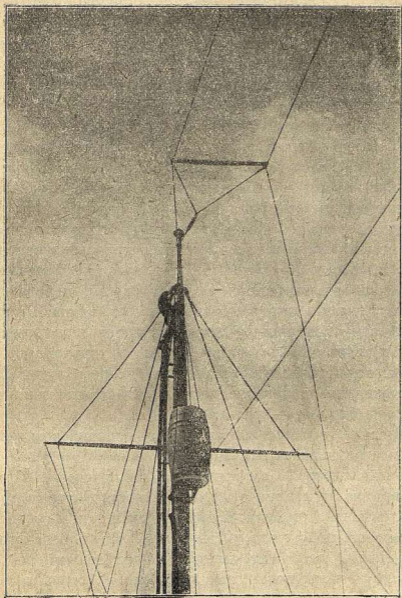
IV. СВАЛЬБАРД

Мы жили в мире призраков много дней. „Малыгин“ десятками следов своего кия пересек во многих направлениях внутренность обширного поля, к которому он был прикован. Беспощадный арктический туман все

время закрывал нам поле зрения, и сквозь этот туман время от времени проступали различные видения.

Казалось, в эти дни команда ледокола и участники экспедиции были все охвачены массовым психозом. То там, то здесь мерещились нам груды алюминия и стали — остатки дирижабля, временные бивуаки терпящих бедствие воздухоплавателей — черные и бурые пятна во льдах. В полярных плаваниях нет ничего опаснее самоуверенности. Все данные были за то, что „Малыгин“ находится как-раз в том районе, где блуждает великий Амундсен и остатки мотористов дирижабля „Италия“, покинутые своим командиром. В туманную арктическую ночь кругом „Малыгина“, почти задевая крыльями провода антенны, летали большие полярные птицы. Туман во много раз приувеличивал их размеры, и казались они какими-то фантастическими чудовищами из норвежских саг. Одну белую шпизбергенскую сову мне удалось впоследствии разглядеть довольно близко. Была она почти человеческого роста, размах крыльев ее был прямо ужасен. Говорят, что в голодный год такие птицы осмеливаются нападать даже на молодых тюленей.

Ледяное поле, в котором мы метались как в мышеловке, двигалось прямо к северо-западу. Остров Фойн, о скалы которого в свое время разбился итальянский дирижабль, остался уже к югу от нас, но северный дрейф „Малыгина“ все еще не прекращался. День и ночь, туманную и светлую как день, бродили вокруг нас призраки, рожденные нашим воображением и причудливой игрой света и теней арктической



пустыни. От этих призраков невозможно было избавиться, они не давали покоя.

На передней мачте у самой верхней реи, в бочке, подвешенной там для удобства наблюдения, один за другим сменялись штурмана. Они бороздили туман стеклами биноклей. Мутный покров полярной мги преломлялся в линзах видениями, многократно повторенными. Штурмана слезали с мачты с воспаленными глазами и безумным взглядом: сверху призраков было еще больше, чем мы могли их видеть внизу. Невольно приходили на ум все сказания о вмерзших во льды кораблях, несущихся десятилетиями в ледяной пустыне с мертвыми экипажами,—легенды, которых наслушались мы еще в Архангельске. Сквозь стену тумана мерещились мне эти громадные остроносые деревянные корабли, на которых человечество средних веков несло к полюсу свою жажду приключений и неукротимую волю к проникновению во все тайны природы. Казалось, в снастях, покрытых хрустальным бисером льдинок, у закоченевших штурвалов застыли замерзшие гиганты, пионеры борьбы с Арктикой.

Множество самых изумительных видений возникали для нас во льдах в эти дни.

Льды бывают синие, зеленые, фиолетовые и бурые. Каждый из этих цветов имеет множество оттенков, но все по-своему хороши. Я думал раньше, что во льдах отражается небо, вода, быть может. Но впоследствии я убедился, что цвет льдов в определенном районе есть нечто совершенно самостоятельное. Вот, например, молодые торосы весеннего сжатия одинаково нежно

бирюзовы как в ясную погоду, так и в туман и в шторм. Для меня цвет льдов—это только эстетика, но помощник начальника экспедиции, гидрограф Лавров, умеет по малейшему оттенку узнать всю историю каждой льдинки. До этих пор мне никогда не приходило в голову, что такая скучная материя, как гидрография, настолько тесно связана с необходимостью разбираться в красотах природы.

Лед сохраняет цвет воды в тот момент, когда она замерзает. Воду окрашивают различные водоросли. Если цвет воды в разводьях отличается от цвета льда, то, значит, лед этот принесен откуда-то издалека. Мне-то это, собственно, безразлично, но вот Лавров по этим признакам изучает различные течения, омывающие Шпицберген. И все названия этих окрашивающих лед водорослей он может перечислить наизусть.

Самое сильное впечатление в окраске льдов производит, конечно, ультрамарин разных оттенков. Когда под напором ветра льды сжимаются, их крошит и ломает. На месте трещин вырастают иногда сплошными рядами, иногда отдельными выступами ледяные торосы. Этот снег почему-то не тает даже тогда, когда тает лед. Если осторожно разгрести руками снежный покров и заглянуть в глубину тороса, то оказывается, что лед излучает свой собственный свет. Свет этот настолько особенный, что, вероятно, нигде больше на земле его нельзя увидеть. В фантазии древних германцев, вероятно, так выглядела священная чаша Грааля.

Мы плавали во льдах больше месяца. Больше месяца у нас не было другого горизонта, кроме ослепительно

яркого простора ледяных полей. Если бы не бесконечно яркий свет, можно было бы подумать, что едешь зимой на санях через степи Екатеринославской губернии. Лед бывал настолько прочен, что иногда терялось ощущение присутствия воды и казалось, что мы двигаемся по суше.

Чем красивее льды, тем коварнее они для нашего самолета. Летом снежный покров подтаивает, под этими проталинами накапливается вода, сверху образуется тонкий слой льда, который засыпается снегом. Это—могила для лыж нашего самолета. Человек провалится и выберется на сушу, но сломанные лыжи в такой обстановке не может починить никто. Это—конец.

Изредка во льдах попадают большие кроваво-бурые пятна. Как это ни странно, это след от медвежьего пиршества. Когда мы выезжали из Москвы, я мечтал о том, чтобы увидеть хотя бы одного живого белого медведя. Через десять дней после того, как мы вошли во льды, мы вовсе перестали интересоваться медведями. Их было так много, как, приблизительно, собак в Москве.

Когда медведь увидит тюленя, он долго ползет к нему на брюхе с подветренной стороны для того, чтобы тюлень его не учуял. Потом он бьет его лапой по голове, и этого достаточно. Это гораздо вернее, чем пуля трехлинейной винтовки. Я видел множество тюленей, которые небрежно уходили под лед, раненые пулями наших охотников.

Когда „Малыгина“ затерло однажды на полчаса во льдах, мы вчетвером спустились на снег, мечтая о том,

чтобы увидеть тюленей поближе, а может быть, и убить одного из них. Морской заяц способен передвигаться по льду очень медленно, — человек легко может его догнать. Но, как только мы подходили к какой-нибудь группе тюленей ближе, чем на пятьдесят шагов, все они мгновенно исчезали под водой. В это время года морские зайцы очень осторожны. Они не отходят от своей лунки и, как только угрожает какая-либо опасность, сейчас же в нее ныряют. Лунки эти обычно защищены снегом, и со стороны их совершенно не видно. Иногда они так хорошо замаскированы, что туда может нечаянно провалиться человек.

В этих льдах нам еще раз пришлось испытать полярный шторм, памятный нам со времени пребывания у острова Надежды. Я проснулся в своей каюте от непривычного шума. Машины „Малыгина“ не работали, повидимому, мы все еще были пришвартованы к ледяному аэродрому, а вместе с тем льды шуршали о корпус „Малыгина“ так, как-будто мы находились в движении.

Я вышел на палубу. Все судно было придавлено густым туманом. С капитанского мостика не было видно кормы. Навалившись громадным животом на стол в штурманской рубке, вахтенный начальник Александр Петрович, тяжело сопя, ковырял циркулем по карте. Синоптик нашей экспедиции, Лорис-Меликов, еще накануне предсказал нам шторм. Сейчас ветер крепчал, но ничего необычного еще не чувствовалось. Было как всегда.

Когда я подошел ближе к правому борту, у меня чуть не закружилась голова: мимо „Малыгина“ с неве-

роятной быстротой мчался громадными массами битый лед.

Левым бортом „Малыгин“ на двух якорях был прикреплен к большому ледяному полю и казался таким неподвижным, как только может быть судно, затертое во льдах. Все население ледокола спало: вчера была очень тяжелая работа, и люди сильно переутомились. Была мертвая тишина, которая нарушалась только скрипом льдин, задевающих борт.

Штурман Александр Петрович вылез из рубки и поднес ко рту свисток:

— Эй, на вахте!

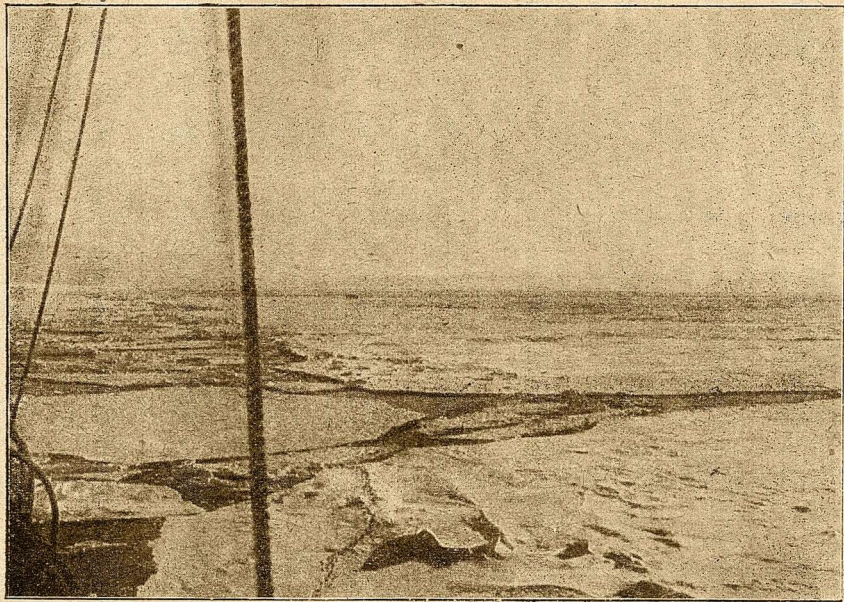
— Есть на вахте!

— Крепите все на палубе. Разбудите капитана. Вызвать подвахту. Шторм!

— Есть разбудить капитана!

Короткий разговор—и сейчас же очень много движения. Потом, одетый в коричневую брезентовую шубу, сонный и небритый, на мостик взошел капитан Чертков. Но когда я еще заглянул за борт, я понял, почему мне так трудно удержать равновесие.

Льдина, к которой был пришвартован „Малыгин“, крутилась на месте, как в карусели. Движение льдов кругом нас усилилось. Когда я впоследствии просматривал вахтенный журнал, я нашел, что в эти часы нас вместе с льдиной несло с быстротой больше чем двадцать километров в час. Туман то обволакивал нас, то исчезал. Капитан Чертков распорядился выбрать якоря и пустил в ход все три котла. Но это было бесполезно.



Ветер дул с такой силой, что нужно было за что-нибудь держаться, иначе был риск слететь за борт. Когда „Малыгин“ оторвался от снежного поля, его сейчас же закрутило в водовороте льдов. Громадные льдины, толщиной в несколько метров, становились стоймя. Их било о борт ледокола, ломало и отдельными кусками выбрасывало на палубу. Где-то в вихре беснующихся льдов мелькнет силуэт совершенно растерянного белого медведя. Он переживал шторм с недоумением и ужасом. Льдина, в снегу которой глубоко увязали его тяжелые лапы, раскололась пополам и перевернулась. Медведь прыгнул в воду, вылез на опрокинутый и тонущий торос, снова упал, перевернулся в воде брюхом наружу и потом его сверху ударило водопадом ледяных брызг. Больше мы его не видели.

В кают-компании было почти темно. Казалось, что туман проникает сквозь наглухо задраенные иллюминаторы. Подвахтенные механики наспех закусывали. Начальник экспедиции, профессор Визе, строчил телеграмму в Москву. Раскинув руки и ноги, на диване у буфета лежал военный радист Плевако. Голова его свисала к полу, но он очень устал, и ему было все равно. Шторм его не касался.

Когда я вновь выбрался на капитанский мостик, нырнув несколько раз в поток ледяных брызг, перемешанных с осколками льда, было уже совершенно светло. Туман отдернуло. Кругом нас клочьями метался туман. Ветром его било о лед, откидывало кверху, швыряло из стороны в сторону. У нас то наступал мрак, то было больно смотреть даже в синих очках. „Малы-

гин“ дрожал как в лихорадке. Жалобно трещали деревянные части судна.

Капитан Чертков разрешил команде переодеться и велел приготовить шлюпки. Моряки любят умирать в чистом белье. Встрепенувшийся от сна радист Плевако разбирал свою установку и переносил ее по частям на шлюпку. Но и это было безнадежно, ибо в этих водах на шлюпках можно было так же мало плавать, как и на ледоколе.

Машины были остановлены, руль освобожден. У нас был один шанс из тысячи, но капитан Чертков хотел спасти винт. Начальник экспедиции, профессор Визе, разрешил судовой радиостанции прекратить на полчаса наблюдение за самолетом и принять радиogramмы корреспондентов.

На другой день с утра ветер стал стихать. Мощная океанская зыбь—все, что осталось от шторма,—медленно колыхала битый лед, и „Малыгин“ качался как ребенок в колыбели. Капитан Чертков пытался перехитрить стихию и пустил в ход машины. Потом мы пристали к большому ледяному полю, и были отданы якоря.

Общее впечатление от льдов—как спокойных, так и штормовых—сплошной ослепительный свет. Если ближе присмотреться к ледяному покрову, то, кроме различных оттенков света, можно различить еще и отдельные пятна—следы животной жизни. Я вернулся от льдов, конечно, профаном. Но с нами были люди, которые по этим следам умели не только предсказывать погоду, но и опровергать научные теории, установленные десятилетиями.

Многолетние льды мы увидели впервые юго-восточнее Шпицбергена уже на обратном пути. Дни за днями проходили в бесплодных поисках Амундсена. Романтика Арктики, конечно, увлекает, но не только ради этой романтики шестьдесят малыгинцев жертвовали своей жизнью для спасения отважного исследователя. Кажется, ни одно сообщение за все время плавания не потрясло нас так сильно, как известие об исчезновении Амундсена.

И еще раз Бабушкин попытался сделать невозможное. Мы стояли гурьбою на льду, затаив дыхание. В этот день была сделана последняя попытка подняться в воздух на лыжах. От этого полета зависело многое, ибо в нашем распоряжении была только одна пара лыж, и, поломав их, Бабушкин вывел бы из строя как свой самолет, так и всю экспедицию. Мотор был включен на полный газ. Те из нас, которые в этот момент стояли у хвоста самолета, отскочили в сторону, защищая лицо от струи воздуха и ледяных брызг. Запасный летчик Сергеев и борт-механик Квятковский повисли на правом крыле, раскачивая его. Тяжело оторвавшись от снега, юнкерс медленно пополз вперед по ледяному полю. Вскоре он пошел быстрее. Спотыкаясь на ледяных кочках, Сергеев и Квятковский бежали рядом с самолетом, тяжестью своего тела пригибая вниз крыло, когда Бабушкину нужно было рулить. Юнкерс скользил по снегу все быстрее и быстрее. Наконец люди отстали, и самолет поднялся над поверхностью ледяной пустыни. Сделав большой вираж, Бабушкин повернулся и пошел на нас, забирая высоту. Через несколько минут он пролетел над нашими головами.

Я много раз впоследствии наблюдал старт Бабушкина, я сам летал вместе с ним, но переживания его первого полета глубоко запечатлелись у меня в памяти. Когда юнкерс исчез за горизонтом, мы все с облегчением вздохнули.

В радиорубке столпилась группа участников экспедиции. В рупор громкоговорителя раздавался хриплый незнакомый голос, принадлежащий военному радисту Плевако, который, сидя в кабине самолета, проверял исправность радиосвязи. Никогда никто из нас не относился с таким уважением к радио, как в часы полетов Бабушкина. Было странно и как-то жутко подумать, что люди, которые только-что были с нами и сейчас летят где-то над льдами на расстоянии нескольких сот километров от нас, могут с нами разговаривать.

Бабушкин вернулся слишком скоро. Еще далеко от цели его настиг в воздухе полярный туман. Юнкерс нырял в воздухе, пытаясь избавиться от этого назойливого спутника, но туман был проворнее, чем изобретение человеческой техники. На обратном пути летчик встретился с другой неожиданной опасностью: большая стая чаек оказала самолету чересчур пристальное внимание; чайки кружились вокруг юнкерса, резкие крики их заглушали шум мотора. Зрелище это было бесконечно красиво, но даже воробей, попавший в лопасти пропеллера, может вызвать смертельную катастрофу. Чайки отстали, и Бабушкин спустился к нам.

Мы плавали там, где плавать нельзя. Бабушкин издевался над законами авиации. Его самолет снимался с таких аэродромов, которые могли служить только

могилами для летательных машин. Со сломанными лыжами, с израненным на смерть юнкерсом Бабушкин творил невозможное; но Амундсена найти нам все же не удалось.

Не знаю, почему это славное имя связывается у меня в памяти с представлением о многолетних льдах. Быть может, потому, что в тот день, когда мы их впервые увидели, морской летчик Сергеев с сердцем бросил окурок в кипящую от льдов воду и пробормотал сквозь зубы:

— Здесь летать на поплавах нельзя!

В течение трех недель мы шли вдоль восточного берега Шпицбергена, вдоль того самого берега, у которого плавать нельзя. Нам встречались по пути обломки этого сказочного арктического архипелага. „Малыгин“ нырял между рифами, как морской дельфин. Карт не было, карты лгали, потому что все сведения об этих местах основаны на догадках и предположениях. Догадки же и предположения ничего не стоят, когда шестьдесят человек на ледокольном пароходе неожиданно садятся на подводную скалу. В ясные дни, когда на ослепительно ярком горизонте мелькают миражи, когда вахтенному начальнику мерещатся несуществующие острова и он суетливо пытается сверить плод оптического обмана с обманчивой картой, мы долгими часами искали Шпицберген. Но его не было видно.

В тот день, когда летчик Сергеев бросил в воду окурок, мы входили в Стор-фьорд. Навстречу жутко медленно двигался битый лед, и все кругом было покрыто молочно-белым туманом. Гидрограф Лавров глу-

боко втянул в себя воздух и, оглядевшись кругом, сказал довольно печально:

— Льды многолетние. Началось таяние. Поплавкам капут.

Таких льдов я до сих пор еще не видал. Грязновато-серые, запачканные землей, обнажающие в трещинах следы последовательных весенних таяний, льды шли на нас, и им не было конца. Когда туман чуть-чуть отдернулся, мы увидели Шпицберген.

Если плаваешь в Ледовитом океане, нужно быть готовым ко всяким случайностям. До того, как далекие друзья с полярных радиостанций дадут так мучительно ожидаемые радиопеленги, капитан никогда не знает точно, где находится его судно. Шпицберген явился нам так страшно близко, что вахтенный начальник еще долгие минуты был убежден, что он стал жертвой оптического обмана.

Вход в Стор-фьорд забаррикадирован густой цепью подводных скал. Счастливая случайность спасла нас от близкого знакомства с ним. Было время прилива, того самого прилива, который так часто арктическим мореплавателям приносит спасение от неминуемой гибели. Ветра не было. Не было и зыби. Густым слоем полз на нас из шпицбергенской пасти многолетний лед, и налево жуткой громадой возвышался Соуткап, место, которое моряки всех стран прозвали мысом „Берегись“.

И еще раз нам пришлось убедиться, как обманчивы льды. Мы знали уже страшный ледовой шторм у острова Надежды, мы знали смертный дрейф ледяных полей, который севернее острова Короля Карла тащил нас

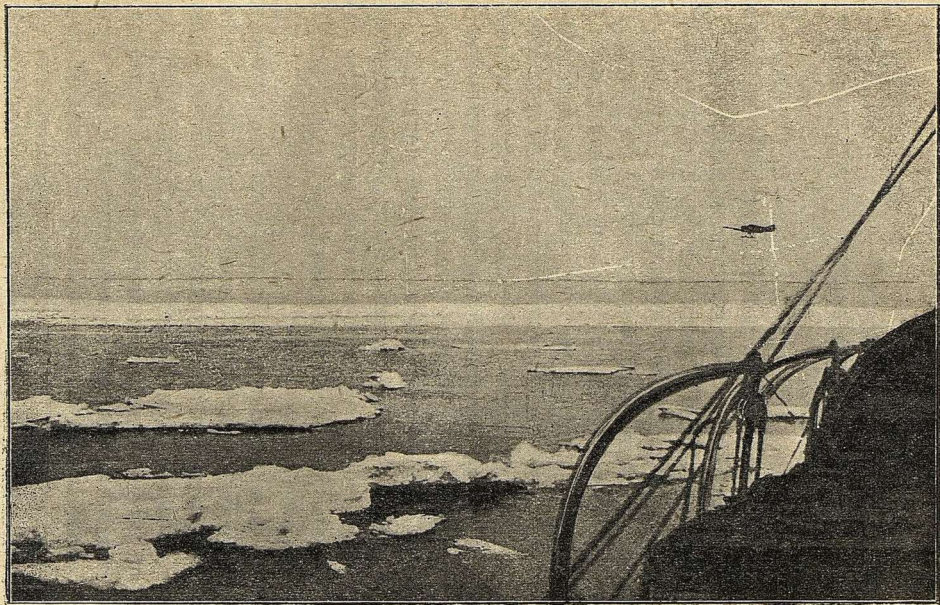
к северу втрое быстрее, чем машины „Малыгина“ могли продвинуть нас к югу, но этот бесконечный многолетний лед, спокойно идущий на нас бесконечной лавиной, как оказалось, был страшнее всех прежних страхов.

Когда наконец бросили лаг, прибор, определяющий быстроту движения, вахтенный матрос издал удивленное восклицание. Многолетние льды, начавшие таять, разбитые и раскрошенные где-то там, на севере Сторфьорда, несли нас с ужасающей быстротой в шестнадцать километров в час. Цифра была бесспорной, льды, грязновато-бурые, были все-таки по-своему красивы. Их медленное движение, как оно видно было глазом, не сулило никакой опасности, и тут только впервые мы поняли, почему полярные матросы по-настоящему начинают унывать только тогда, когда они выходят из льдов.

Капитан Чертков, стоя на мостике, скрестил руки на груди. Замечательный жест у этого отважного человека, специальность которого заключается в том, чтобы побеждать стихию. Туман отдернуло совсем, и мы увидели оба берега Шпицбергена.

За несколько дней до этого полярные льды вокруг острова Короля Карла сыграли с нами еще одну штуку. Когда в последний раз вернулся Бабушкин, было видно в бинокль, как на скалистом берегу острова играло несколько белых медведей и птицы, кружась, уходили куда-то в высь, за голубые вершины глетчера.

На мостике стоял один капитан Чертков. Когда раздался шум пропеллера, он достал бинокль, тщательно разглядел черную точку на горизонте и лишь после этого крикнул:



— Эй, на вахте!

— Есть на вахте!

— Будите летчиков. Вызвать подвахту. Готовить сигналы. Самолет идет.

— Есть!

Мы все вскочили как встрепанные. Летчик Сергеев, не успевший как следует одеться, в расстегнутой рубашке и без шапки, прыгнул прямо с борта на лед. Сверху нам сбросили красный кумачевый сигнал, и мы раскинули его на снегу против ветра. Бабушкин кружил над нами. Маленькой хрупкой птицей казался юнкерс над вечными льдами. Но в том, что человек, который в течение нескольких часов где-то далеко, в снежной пустыне, боролся со смертью и сейчас не прямо садится на приготовленный ему сигнал, а спокойно выбирает лучшее для посадки место, было что-то страшно успокаивающее. От самолета, который медленно скользил на левом крыле, огибая бухту, где затерт был „Малыгин“, веяло неограниченным количеством самоуверенности и спокойного мужества.

Потом Бабушкин сел.

Дни шли за днями, и льды безжалостно нас трепали. Машины „Малыгина“ кашляли, как простуженный старик. Когда ледокол ударялся об ледяное поле, весь корпус его сотрясался: стонали разбитые бимсы, внутренние крепления были исковерканы, с левого борта не хватало двух заклепок и в трюм мощным водопадом лился океан. Голые по пояс матросы подвахты, обливаясь потом, с изодранными в кровь руками конопатили в темноте пробоину. Я видел адскую работу

этих людей и понимал, что так работать можно, только если спасаешь жизнь товарищей и свою. Пробоину заделали, но в трюм попрежнему просачивалась вода, и водоотливные помпы работали беспрерывно.

Севернее острова Короля Карла ледяная пустыня сыграла с нами штуку. Дрейф льдов неожиданно взял направление на северо-восток, прямо к полюсу, к той условной географической точке на земной поверхности, достижения которой добивались исследователи нескольких поколений. Мы двигались к югу втрое медленнее, чем льды тащили нас к северу. Капитан Чертков не спускался к себе в каюту. Матросы и участники экспедиции за эти несколько дней как-будто даже немножко осунулись.

За обедом в кают-компании профессор Визе как-то пошутил:

— Ну, вот, хоть Нобиле не найдем, так северный полюс увидим! Если так будет продолжаться, через три дня там будем.

Ночью, от 12 до 4 утра, второй штурман, Александр Петрович, победил льды. Эту ночь я буду помнить, должно быть, всю жизнь. Тумана не было, видимость была превосходная, и всюду кругом спокойной белой равниной расстилались снежные поля. Александр Петрович бил лед. „Малыгин“ становился на дыбы и тяжестью своего корпуса давил перед собою поле, подминая под киль отдельные льдины. Я видел, как громадные обломки льда толщиной в несколько метров, кружась в водовороте пены и брызг, ныряли под воду. К концу вахты Александра Петровича на судне не

было ни одного предмета, который не сдвинулся бы с места.

В буфете была разбита вся посуда, несмотря на специальные стойки. Запасный мотор самолета на нижней палубе сорвался с тросов, разбил несколько ящиков с запасными частями, оторвал кусок фальшборта и повис наконец на каких-то канатах.

Летный состав с стертыми до крови руками держал самолет, чтобы он не упал за борт.

Покрасневший, с опухшими от напряжения глазами, весь мокрый в своей меховой куртке, Александр Петрович метался по мостику. Ледокол весь, от киля до верхушек мачт, дрожал как лошадь на финише, и казалось—еще один удар—и стальная обшивка не выдержит.

В 4 часа утра я пил чай в кают-компании. Громыхая подкованными сапогами, Александр Петрович спустился с мостика. Он шатался от усталости. „Малыгин“, тихо вздрагивая, шел во всю мощь своих трех котлов, кругом была вода, разводя льда, и мы шли на юг. „Малыгин“ уходил от полюса. Льды были побеждены.

Мы плавали во льдах еще около двух недель. Самолет Бабушкина, израненный пятнадцатью полетами, мирно отдыхал на корме. Мы обыскали каждый уголок ледяного поля вдоль восточного берега Шпицбергена—следов Амундсена не было нигде. Каждый день судовая радиостанция принимала вести о подвигах „Красина“. Эфир был полон восторженных откликов из разных стран, на всех языках мира. Аварийная мачта, которую летчик Чухновский, разбившись возле мыса Платена, поднял над льдами для того, чтобы сообщить

„Красину“ местонахождение группы Мальмгрена, стала центром всеобщего внимания.

Чухновский сообщал: „Пожалуйста, прекратите передачу приветствий. Благодарю всех. Привет малыгинцам. Выбрались ли они из затора? Ради бога, не давайте больше приветствий. Ужасно хочется спать. Мы все устали“.

Когда „Красин“ взял на борт последнего человека, оставшегося во льдах, мы подходили к южной оконечности Шпицбергена.

Казалось, что мы входим в тоннель. Слева, высоко над горизонтом, кружились облака. Когда нас понесло ближе к суше, стало видно, что эти облака прикрывают вершину Соуткапа—громадной каменной скалы высотой в два с лишним километра. Горло залива приняло нас. Гигантские каменные стены тоннеля жутко близко нависли над маленьким „Малыгиным“. Многолетний лед шел на нас стеной, и было непонятно, как он ухитряется двигаться против течения. В Стор-фиорде только сейчас начиналось полярное лето, льды таяли и им было все равно, куда итти.

Правительство Норвегии на всей территории Шпицбергена в течение пяти лет запретило охоту на оленя. Когда Чухновский сел возле мыса Платена на лед, отважному экипажу его самолета нужно было продержаться не менее двух недель. Летчик Чухновский убил белого медведя и оленя точно так же, как на фронте он убил бы врага. Прячась за ледяными торосами и подкрадываясь к зверю, он выслеживал голодную смерть.

Милый, скромный Борис Григорьевич, замечательный человек, который с неподражаемой незаметностью умеет носить свое великолепное имя. Вероятно, он недостаточно знаком был с норвежскими законами, в противном случае он, должно быть, никогда не позволил бы себе их нарушить.

Норвежское правительство запретило охоту на оленя и уничтожило, стерло с карты название Шпицберген, заменив его древним именем Свальбард. Это имя не раз служило лозунгом отважным викингам. На Свальбарде нет травы, там не растут деревья. Разветвления Гольфштрема приносят к этим скалистым берегам обломки разбитых кораблей, лес с раскиданных волной плотов сибирских рек, обломки строительства культурных стран. По этому дереву, лежащему на тех берегах, где деревья не растут, гидрограф Лавров, точно так же, как по цвету льдов, умеет строить свою науку.

Нам не пришлось побывать в солнечном Кингсбее и увидеть знаменитый ледник, к которому приезжают умирать раздавленные склерозом американские миллиардеры. Там, на западных берегах Свальбарда, согреваемая теплым течением Гольфштрема, на семьдесят шестой параллели, творится культурная жизнь. Тысячи рабочих, самые северные шахтеры в мире, добывают из свальбардских недр каменный уголь. Там есть санаторий, настоящие человеческие дома, электричество и радио.

Мы видали другой Свальбард—остров льдов и туманов. В Стор-фьорде нет действующих угольных шахт, там нет человеческого жилья, там не могут жить люди, потому что сюда на судне можно попасть только тогда,

когда тают льды. Эти тающие льды неминуемо несут судно на рифы.

Вместо цветущего промышленного городка мы увидели голые скалы, увенчанные ледниками и ослепительно снежными вершинами. Человек-завоеватель оставил здесь только следы могил своих героев. В английской лоции сказано, что западный берег Стор-фьорда усеян русскими угольными заявками и крестами на могилах русских поморов. Этих крестов однако нам увидеть не удалось, потому что в тот момент, когда мы вошли в Стор-фьорд, вахтенные матросы готовили спасательные шлюпки.

Гидрограф Лавров, зачерпнув ведром маленькую грязновато-бурую льдинку, исследовал на ней какую-то водоросль, занесенную Гольфштремом с Антильских островов.

Потом туман лег тяжелой белой пеленой, и с капитанского мостика казалось, что кто-то откусил у „Малыгина“ и корму и нос.

Больше мы Свальбарда не видели. Командир судна Чертков скрестил руки ровно на сутки. Потом льды нас выпустили.

Капитану Черткову удалось повернуть судно бортом к течению. Потом мы сделали большой круг. Был один миг, когда „Малыгин“ лег на бок, зачерпнув левым бортом воду, смешанную со льдом. Потом судно выпрямилось, и скалы Стор-фьорда очутились у нас за кормой. Мы уходили от Шпицбергена. В последний раз мелькнул в бинокль голубой глетчер Южного мыса, потом нас покрыло шапкой густого тумана, и больше ничего не стало видно вообще.

Вечером того же дня на совещании тройки выяснилось, что у нас осталось запасов угля только на шесть дней. „Малыгин“ снова поднялся к северу по кромке льда и стал на ледяной якорь для того, чтобы перегрузить уголь из запасных трюмов. Мертвая зыбь чуть-чуть колыхала кругом льды. Было совершенно непонятно, как могут с такой силой и одновременно так нежно качаться громадные ледяные поля в несколько сот метров площадью.

Когда на судне грузят уголь, черная пыль проникает во все щели. Угольная пыль плавает в супе, застревает в волосах, забирается под одеяло. Черные, как негры, перепачканные с головы до ног, матросы весело катали по палубе тачки с углем. Каждый матрос имеет свою тачку, и каждая тачка носит свое название, написанное мелом. Трогательная любовь к вещам — отличительное качество матросов дальнего плавания.

Шпицбергенскую банку мы покинули через три дня. Когда в последний раз мы вышли из кромки льда, все вздохнули с облегчением.

Светлое лиловое небо осталось позади. Впереди нас бесконечной равниной раскинулся Ледовитый океан.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ЗЕМЛЯ! ЗЕМЛЯ!

ПОСЛЕДНИЙ ШТОРМ

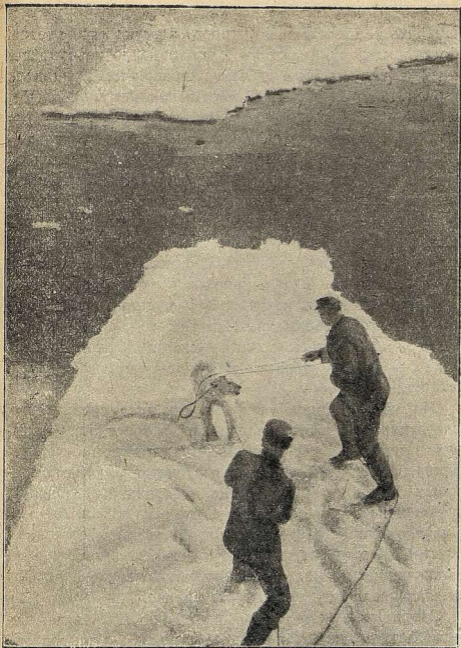
Нам суждено было видеть лед еще раз. В Баренцовом море плыли по волнам два гигантских айсберга. „Малыгин“ прошел очень близко от них. Была сильная волна, но и ей было не под силу справиться с тяжестью в несколько сот тысяч тонн. Все кругом качалось, но айсберги плыли неподвижно, и волна разбивалась о лед тысячами мелких брызг. Внизу, над самой водой, у подножья айсберга лежал на брюхе большой белый медведь. Он плыл в неизвестность, солнце светило ярко, и ему было очень хорошо. Медведь посмотрел на нас, сверкнув большим черным глазом, и, лениво положив голову на лапу, отвернулся. „Малыгин“ его не интересовал.

Греландских китов нам, конечно, не удалось увидеть. Они, вероятно, существуют лишь в воображении художников, рисующих картинки Ледовитого океана для детей: этакая большая черная глыба с водяным фонтаном. Но однажды в три часа утра, ослепительно яркой полярной ночью, второй штурман Александр Петрович показал мне касаток.

Касатки шли как рота солдат на полевом учении, штук тридцать в ряд. Скользкие их носы были выравнены как по ниточке. Они плыли шеренгой, растянувшись на киломер против волны, одновременно все тридцать сразу били волну носом, рассыпая во все стороны изумрудные брызги, и потом снова вместе ныряли. Касатки перестроились в карре, и опять-таки фланги этого карре были выравнены с математической точностью. Впереди плыла касатка, вероятно, самая старая и опытная; она не считалась с равнением, выглядывала и снова ныряла в воду совершенно самостоятельно, чувствуя себя как конный командир во главе строя.

Потом касатки сдвоили ряды, повернулись справа по три, путая пеший строй с конным, продефилировали перед самым носом у „Малыгина“ и исчезли наконец в седых гривах волн.

Ветер крепчал. Море Баренца готовило нам шторм. Синоптик Лорис-Меликов, как всегда, спотыкаясь, вылез из рубки на спардек. Волосы и борода его были всклокочены, к бороде пристала откуда-то взявшаяся соломинка, и всем своим видом он напоминал потерявшего дочь мельника из оперы „Русалка“, только выглядел помоложе его. Лорис-Меликову нужно было



измерить температуру, влажность воздуха и силу ветра. Но так как двумя руками одновременно невозможно держать три прибора, да еще вдобавок часы, синоптик поочередно ронял каждый из этих предметов на палубу, затем крутил носом и с задумчивым видом лез обратно в рубку, обязательно споткнувшись на пороге.

В четыре часа двадцать минут с вахты сменился второй штурман Александр Петрович. Как всегда шумливый и жизнерадостный, он ввалился в кают-компанию. В его выцветших на полярном солнце усах отложились сверкающие кристаллики океанской соли, и весь он с ног до головы был пропитан запахом ветра и морской воды. Вот только дай такому трезубец в руки, посади его на какую-нибудь чудовищную рыбу и пиши с него изображение Нептуна.

— Ну, держитесь, ребята, — сказал Александр Петрович, — главным образом зубами держитесь за палубу; шторм идет!

Не успел второй штурман так предупредить нас, как в нижних каютах вдруг что-то треснуло, „Малыгин“ повалился на бок, и громадная темно-зеленая волна на миг закрыла все иллюминаторы кают-компании по правой стороне. Борт-механик Квятковский, шедший из кухни с чайником, упал на диван, плеснув кипятком под стол; ошпаренный летчик Сергеев запрыгал на одной ноге. Затем „Малыгин“ так же неожиданно вновь принял устойчивое положение, и все мы опять повалились, на этот раз вправо.

Начальник экспедиции профессор Визе велел переменить курс и стать носом к волне. „Малыгин“ не

выдерживает бортовой качки. Умный английский инженер, который его строил, распорядился снять боковые кили, придающую судну устойчивость, потому что эти кили, по его мнению, мешали бы „Малыгину“ колоть лед. Спрошенный мною по этому поводу капитан Чертков, не задумываясь, ответил, что английский инженер— дурак, а крепкие льды „Малыгин“ вообще колоть не может, с киями или без оных.

Потом английский инженер недели две копался в правом борту „Малыгина“ и, ремонтируя обшивку, значительно облегчил этот борт по сравнению с левым. В результате „Малыгин“, особенно при малой нагрузке, имеет постоянный крен влево. Если смотреть на судно сзади во время качки, то кажется, что это—человек, хромающий на одну ногу. В хорошую бортовую качку волна смыкает с нашего судна все шлюпки, а иногда и часть палубных построек. Поэтому профессор Визе распорядился, оставив курс, повернуть „Малыгина“ носом к волне.

Килевая качка вообще действует успокаивающе. Только в голове слегка шумит, как с похмелья. Спать же почти невозможно. Лучше всего выйти на палубу и дышать свежим воздухом.

Наши ученые весь обратный путь в Архангельск проводили в океанографических исследованиях. Каждые полчаса кто-нибудь из них бросал в море специальный прибор на определенную глубину, брал с этой глубины воду и отливал ее в отдельную баночку. Таких банок у нас под конец плавания набралось большое множество, и синоптик Лорис-Меликов аккуратно укладывал

их в большой плоский ящик с отделениями, напоминающими инкубатор.

Мы шли морем Баренца, самым страшным из полярных морей. Лишь в 1871 году норвежец Карльсон по прошествии почти 300 лет нашел на северо-восточном берегу Новой Земли могилу отважного голландца, в честь которого благодарное человечество назвало водное пространство между Нордкапом и Шпицбергенем. В 1596 году судно Баренца было затерто во льдах в районе мыса Нассау. Это была первая полярная зимовка людей на дальнем севере. Льды не выпустили Баренца и через полтора года. Отважный мореплаватель погиб, похороненный друзьями в вечных льдах.

На капитанском мостике „Малыгина“ было страшно. Громадные волны медленно и лениво шли по носу; этим волнам не было конца, и „Малыгин“ казался маленькой жалкой игрушкой. Когда большая волна налетала на судно, носовой кубрик нырял под воду, сотни тонн воды обрушивались на палубу, и гребень волны со всего размаха ударялся в капитанский мостик. В таких случаях первый штурман, который нес вахту, поднимал руку и кричал:

— Гоп!

И мы все сгибались в три погибели для того, чтобы волна не ударила нас в лицо. Вода пролетала над нашими головами, окатив наши спины; могучие потоки ее обливали радиорубку и терялись в извилинах палубы, где-то между шлюпками и самолетом. Нижняя палуба оказывалась залитой водой каждую минуту. Люди ходили ползком, цеплялись за фальшборт. На

моих глазах волна сшибла с ног судового кока, протаснула его несколько сажень по палубе и заткнула в какой-то люк. Задыхаясь в соленых брызгах, обдаваемые ежесекундно потоками ледяной воды, матросы подвахты спешно крепили какие-то снасти, закрывали отверстия, задраивали иллюминаторы.

Ветер дул с необычайной силой. Небо вдруг как-то сразу стало свинцового цвета. Кругом „Малыгина“ на гребнях волн вода кипела как в котле. На горизонте громадные валы поднимались из пучины, они шли, медленно колыхаясь и налетая друг на друга, величественно и как бы нехотя. Подойдя к „Малыгину“, волны ударялись о него с такой силой, что мачты вздрагивали как от взрыва. Потом радиусом в несколько десятков сажень рассыпался веерообразно поток брызг, и со всех сторон, через все отверстия на палубу и рубку потоками лилась вода.

Две волны прошли одновременно одна за другой. Первый раз вахтенный штурман успел крикнуть „Гоп!“ и предупредить нас, но капитан Чертков слишком быстро приподнялся; вторая волна, налетевшая с невероятной быстротой, ударила ему прямо в лицо. Ослепленный солеными брызгами, ставший моментально мокрым с головы до ног, капитан, громко ругаясь, полез с капитанского мостика к себе в каюту переодеваться.

Профессор Визе позвал меня на корму помочь ему произвести наблюдения. Издрогшие и измученные бессонными часами, летчики руками держали самолет. Юнкерс ежеминутно вздрагивал от ударов волны; канаты, прикрепляющие его к палубе, намокли и местами

перетерлись. С верхнего брезента, прикрывающего фюзеляж, непрерывными потоками стекала в кормовой кубрик вода, от которой не было спасения.

На корме, распятая на двух досках, мокла шкура белого медведя, убитого летчиком Сергеевым. Шкура была выставлена здесь для того, чтобы сохнуть, но сейчас ее щедро обмывало морской волной. Эту шкуру в ту же ночь вместе с державшими ее досками смыл с палубы девятый вал. Я держал ручку аппарата, разматывающего лотлинь, профессор Визе и синоптик Лорис-Меликов вдвоем осторожно опускали в воду большой никелированный футляр с термометром. Ветер относил этот прибор в сторону, волны ежесекундно пытались прибить его к корме. Большой вал, налетевший сбоку, окатил нас ледяными брызгами. Когда я наконец открыл ослепленные водой глаза, я увидел, как Лорис-Меликов, укутавшись в полушубок и крепко сжав подмышкой какой-то прибор, катится по опустившейся к носу палубе. Вторая волна настигла его в пути, перевернула, и синоптик пролетел так близко от открытого места в фальшборте, что, казалось, еще миг — и он исчезнет за бортом, в волнах. Он встал, отряхнулся и, смертельно бледный, пошел прямо на нас для того, чтобы снова приступить к прерванной по независящим от него обстоятельствам работе. С бороды и усов его в три ручья текла вода. Кожух был похож на плохо выжатую губку, и весь он до чрезвычайности напоминал утопленника, явившегося к кому-нибудь ночью в виде привидения. Как ни страшна была эта минута, все наблюдавшие совершенно иск-

ренно расхохотались. И тут мне стало ясно, как просто научная работа может иногда стать опасной для жизни.

Опять пробили склянки. Их почти не слышно было за шумом бури. Сменилась еще одна вахта, и третий штурман пошел показать мне, как мы течем. Вода размотала где-то провода, в подводной части произошло короткое замыкание, и трюмы погрузились в мрак. Скользя по каким-то трапам и спотыкаясь ежеминутно в угольной каше, настоянной на океанской воде, мы пробрались через полчаса к трюму № 2. Опираясь рукой о скользкие стены водонепроницаемой перегородки, я чувствовал биение пульса океана. Казавшиеся в эту минуту бесконечно тонкими стальные перегородки дрожали. С приглушенным гулом обрушивались где-то снаружи волны, и было жутко подумать, что мы находимся где-то глубоко под поверхностью разбушевавшегося моря.

В трюме № 2 горели два огарка; здесь тоже потухло электричество. Было жарко: этот трюм находился где-то поблизости от котлов машины. Пять человек голых по пояс, копошились в стенке. У одного из них была ссажена рука, и кровь текла по спине, перемешанная с потом, соленой водой и угольной пылью.

При свете огарков причудливым огнем играли брызги морской пены. Где-то в стороне работали водоотливные помпы. Звука молотков, которыми люди стучали по стали, не было слышно из-за грохота океана. На стене играли причудливые тени. В трюме № 2 я видел живых полуголых людей, которые своим телом

закрывали раны, нанесенные „Малыгину“ льдами, раны, сквозь которые к нам пыталась проникнуть смерть.

После трюма № 2 уходящая из-под ног палуба с беснующимися на ней волнами показалась мне раем. В кают-компании три человека пили чай, остальные валялись по койкам, уложенные морской болезнью.

Совершенно неожиданно „Малыгин“ как-то сразу рухнул на бок. Со столов полетела вся посуда, в буфете открылись дверцы, и все вывалилось на пол, а мы все кучей покатались в угол к радиатору отопления. Один миг казалось, что „Малыгин“ перевернулся вверх дном. В правые окна было видно свинцово-черное небо, вся левая часть судна была под водой, мы накренились под угол в пятьдесят градусов. Я пополз на палубу, чтобы узнать, в чем дело, и, зажмурив глаза на четвереньках добрался по трапу на капитанский мостик.

„Малыгин“ все еще лежал на боку, и волны перекатывали через него без всяких затруднений. На мостике все были мокры до нитки. Стиснув зубы и выпучив глаза, бледный, как смерть, рулевой изо всех сил налегал на штурвал. Вахтенный штурман стучал кулаком по рупору и что-то исступленно кричал. Волны неожиданно переменили направление. „Малыгин“ нечаянно очутился под бортовой качкой, и нескольких секунд было достаточно для того, чтобы положить его на борт. Через минуты две судно стало медленно подниматься. Каждая новая волна, набегавшая с правого борта, вновь пригибала его к поверхности океана. Судно поднималось неровными рывками, как человек,

только-что опомнившийся от полученного им сокрушительного удара. В углу, у ящиков с биноклями, величественной громадой возвышался капитан Чертков. Я только-что заметил его присутствие, и его, как обычно, спокойный вид давал понять, что на море бывают происшествия, еще более неприятные, чем это.

Когда „Малыгин“ окончательно выпрямился, капитан еще раз испытующим взглядом окинул горизонт, потом он повернулся и, держась за поручни, медленно пошел с трапа.

— Штурман, — сказал он, — я пошел спать. Видимо, шторма не будет.

Я не верил своим ушам, но это было так. То, что мы пережили, еще не было штормом. Ураган прошел где-то мимо нас, мы перенесли просто, как деликатно выразился Лавров, небольшое волнение.

Через несколько часов ветер пошел на убыль. Волны постепенно улеглись и выглянуло солнце. Океан медленно колыхался мертвой зыбью. Большими кругами вокруг нас летали чайки.

II. СОЛЬ ОКЕАНА

Люди день за днем ходят по твердой земле, не сознавая своего счастья. Люди приезжают на берег моря и, широко раздувая ноздри, вдыхают запах океана, мечтая о дальних плаваниях, о просторе водяной пустыни.

Есть своеобразная, ни с чем несравнимая красота морских пространств, но человек рожден для того, чтобы быть на суше, и ни мощная красота Арктики,

ни экзотика южных морей не могут ему этой суши заменить.

Великий Амундсен и его спутники остались где-то далеко позади нас. Арктика не выдала своей тайны. Самолет „Латам“, вылетевший ранним прозрачным утром из маленького городка, затерянного в фиордах, ушел в неизвестность, и напрасно веселые молодчики из норвежского королевского воздушного флота, собираясь каждый вечер за традиционной кружкой пива в офицерском клубе Осло, ожидали известий от голубоглазого гиганта Дитрихсена.

Океан успокоился. Справа и слева маячили на горизонте дымки встречных судов, где-то далеко на юге мелькнул на миг даже парус рыбацкого баркаса. Величественное спокойствие океана было нерушимо. Где-то там, к югу, за туманной пеленой легла желанная земля, и мы, собравшись в кают-компании за стаканом горячего чая, еще раз вспоминали дни, проведенные во льдах.

Равномерно, как хронометр, работали машины „Малыгина“. Корабль—как лошадь, возвращающаяся в конюшню. Никогда так прилежно не трудятся кочегары, никогда так исправно не работают котлы, как когда судно идет домой, в родную гавань.

Зелень, которая легла на наши лица после шторма в Баренцовом море, постепенно заменялась здоровым загаром людей, пробывших два месяца в море. Огненный шар солнца по ночам низко катился над волнами. Казалось, солнце задевало за гребешки валов; мы уходили с каждым часом все дальше и дальше из области вечного света.

Мы приближались к суше. Легкий ветер нагнал на нас густое облако тумана; в этом облаке мы двигались два дня. Команда нервничала: проклятый туман на неопределенное расстояние отодвигал от нас землю, возвращение.

Призраки Амундсена преследовали нас и здесь, в открытом океане. „Малыгин“ пробирался ощупью в тумане, как слепой. Каждые пять минут вахтенный штурман дергал сигнальную проволоку, и „Малыгин“ жалобно мычал, тщетно ожидая ответного сигнала от какого-нибудь встречного судна. Море кругом нас, повидимому, было пустынно, но необходимо было все же соблюдать осторожность.

В последний день нашего шествия в тумане капитан Чертков неожиданно застопорил машину. Боцман Головин, побледневший и взволнованный, взбежал на капитанский мостик, пролетев в несколько секунд всю палубу от кормы, где он все утро копошился в каких-то снастях. Сквозь стену тумана ему померещился белый силуэт какой-то шлюпки, а может быть, и остатков гидроплана. В этом не было ничего невозможного, потому что таинственное исчезновение Амундсена чрезвычайно легко могло объясниться тем, что аппарат его, не долетев до Свальбарда, упал в море и несколько недель носился по волнам океана.

Все население ледокола мгновенно собралось на палубе у левого борта. Малым ходом „Малыгин“ стал описывать широкие круги, радиусом в милю, постепенно суживая свой маршрут в виде спирали. Шестдесят человек, протирая слезящиеся от тумана глаза,

бороздили белую мутную завесу, но ничего не было видно, кроме серых гребешков волн, отяжелевших от сырости чаек и слабого отражения „Малыгина“ на поверхности воды. Погоня за призраком продолжалась несколько часов. Потом, когда по подсчетам штурмана „Малыгин“ закончил свою фантастическую спираль и вернулся к той условной точке в просторе океана, где боцману Головину померещился великий Амундсен, капитан Чертков безнадежно развел руками, и мы снова двинулись к суше.

В ночь, когда мы впервые увидели в тумане далекий берег, в первый раз за два месяца над нами зашло солнце. Оно спряталось всего на полчаса, но для нас это было целым событием. Казалось, что команда ледокола молилась мраку так, как первобытные люди когда-то, в древние времена, поклонялись солнцу. Для нас ночь после восьми недель, проведенных в области вечного света, олицетворяла сушу, родных, друзей.

По подсчетам Александра Петровича, мы должны были увидеть землю около двух часов ночи. Какой-то доброволец из палубной команды забрался в наблюдательную бочку, а мы все, столпившись на капитанском мостике, с трепетом ожидали его сообщений. В третьем часу огненный шар солнца, катившийся по горизонту, наполовину погрузился в волны. Кругом наступили сумерки, сумерки, которых мы не видели так долго. И в эту самую минуту с верхушки мачты раздался хриплый возглас:

— Земля! Земля!

Незаметно промелькнуло горло Белого моря. Мы подходили к Северной Двине. С красного пловучего маяка нам прислали лоцмана. Он с кошачьей ловкостью взобрался по трапу и, пожав руку капитану, стал у штурвала. Мы все обступили его, как дикари: это был первый посторонний человек, которого мы так близко увидели за все время плавания.

Лоцман принес пачку свежих газет, и мы накинлись на них так, как голодающие не набрасываются на кусок хлеба. Газеты были разорваны по страницам, каждый обрывок читали несколько человек. Каждая буква газетной полосы напоминала нам о том, что вот уж скоро, сейчас мы вступим на твердую землю. Матросы и экспедиция переоделись в лучшее платье. Мы приближались к устью реки.

Последние часы, проведенные на „Малыгине“, особенно мне памяты. Все мы не сходили с палубы и ежеминутно поглядывали на часы. Судно вел второй штурман Александр Петрович; он тоже был одет в парадную форму, и весело блестели на солнце золотые галуны его фуражки. В Березовке, на контрольном таможенном пункте, капитан Чертков велел дать тихий ход. С берега какой-то человек в зеленой фуражке крикнул нам в рупор:

— Капитан „Малыгина“!

— Есть!

— Капитан „Малыгина“, вы заходили в иностранные порты?

— Нет!

— Вы имели сношения с иностранными судами?

— Нет!

— Что же вы делали?

— Мы плавали во льдах.

— Капитан „Малыгина“, вы можете пройти без осмотра.

— Есть! Благодарю взс. Вахта, полный ход вперед!

Я, не отрываясь, глядел на зеленый луг двинского берега; у меня рябило в глазах от пестроты красок, и как-то не верилось, что пять дней тому назад мы плавали во льдах, было страшно холодно и шел снег.

Мы пришли в Архангельск на три часа раньше, чем предполагали. На пристани было совершенно пустынно,—город готовил нам встречу позже. Какой-то матрос, увидев нас, всплеснул руками, крикнул: „Малыгин!“ — и со всех ног побежал в город сообщить весть о нашем приходе. Судно медленно подходило к берегу. Эти последние минуты показались мне часами. Я в душе страшно злился на капитана, что он так копается.

Когда на пристани приняли концы и машины стали, начальник экспедиции профессор Визе медленно и торжественно поднялся на мостик. Капитан Чертков в полной парадной форме, в лайковых перчатках и крахмальном воротничке принимал поздравления с благополучным возвращением. Я тоже пожал его большую руку, и тут впервые мне пришло в голову, как в течение всего нашего плавания мы верили в этого человека.

Можно сходить на берег. Странное ощущение: берег качается, все прыгает в глазах. Не успел отойти и нескольких шагов от пристани, как у меня закружи-

лась голова. Я сел прямо на траву и сорвал маленький желтый цветок, который я нечаянно придавил локтем. Цветок пахнул землей, и это было очень хорошо.

Баренцово море оставило мне память. Вся спина моей кожаной куртки покрылась тонким белым налетом—слоем морской соли. Этот налет сейчас потрескался, он состоит из бесконечно мелких отдельных кристалликов.

Своей кожаной куртки я больше никогда не надену; она спокойно висит на стене. Кожа ее пахнет солью океана, голубыми глетчерами Шпицбергена, бесконечным простором ледяных полей. Эту куртку я свято берегу, как старый боевой стяг, как самое лучшее воспоминание о самых дорогих днях.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Часть первая

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

I. Романтика Арктики.	5
II. Люди с „Малыгина“	19

Часть вторая

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

I. Труженики полярного моря	33
II. Магнитная буря	40
III. Над вечными льдами	56

Часть третья

ШЕСТЬДЕСЯТ И ОДИН

I. „Оставьте всякую надежду!“	79
II. Роальд Амундсен	94
III. Призраки во льдах	109
IV. Свальбард	117

Часть четвертая

ЗЕМЛЯ! ЗЕМЛЯ!

I. Последний шторм	141
II. Соль океана	151

БИБЛИОТЕКА ЭКСПЕДИЦИЙ и ПУТЕШЕСТВИЙ (Б Э П)

Арсеньев В. — Сквозь тайгу.

136 стр. Ц. 1 р. 25 коп.

Проф. Арсеньев в ряде своих экспедиций в Уссурийскую тайгу открыл новый мир природы и людей. Тысячелетняя тайга, шумящая кедрами, переполненная диким зверьем, пересеченная тропинками редких охотников, предстает перед нами в описаниях В. Арсеньева во всей своей первобытной красоте. Все, о чем зачитываются в романах Майн Рида или Купера, открывается здесь в подлинном виде, тем более привлекательным, что в описаниях В. Арсеньева нет ни слова выдумки.

Вегин С. — В верховьях Тигра. (У айсоров и курдов). Предисловие Б. В. Мюллера с 42 иллюстр.

223 стр. Ц. 1 р. 35 коп.

Быт современных айсоров и курдов очень мало известен. Эти два народа живут среди армян, русских, турок в дикой и суровой природе Ванской области. На фоне невымышленного романтического сюжета автор дает художественно-яркое и научно-точное изображение быта, семейного строя, родового устройства, религиозных верований кочевников-курдов и оседлых айсоров.

Дьяков Д. — По современной Австралии. С 35 рис. и 2 картами.

140 стр. Ц. 1 руб.

Читая страницы этой книги, мы замечаем ту же борьбу, которая ведется и в старой Европе, прослеживаем то же самое стремление к коммунистическому обществу, видим пролетарские боевые организации, воодушевленные теми же стремлениями, как и у нас.

ЗАКАЗЫ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ

по адресу: Москва, Центр, Новая площадь, дом № 6 Издательству
„Молодая Гвардия“ или его отделениям,

Колинсон К. — На островах вечной весны. (Соломоновы острова). 176 стр. Ц. 1 р. 15 коп.

Автор этой книги попал на Соломоновы острова случайно, увлекаемый жадой новых впечатлений и поисками заработка. Он дал описание своеобразного быта обитателей островов вечной весны, нисколько не стараясь выставить на первый план превосходство европейской культуры.

Лебедев А. — К ледяному сердцу Арктики. (История путешествий в Арктику от конца XV века до настоящего времени).

322 стр. Ц. 2 р. 25 коп.

Автор рассказывает, как в течение долгих веков, при все растущей технике, прокладывались пути к полюсу и как совершалось завоевание бесплодной и мрачной страны льдов.

Соколов А. — За ледяной стеной. (Остров Врангеля). С 7 рис. и 3 картами.

111 стр. Ц. 1 р.

В течение целого столетия остров Врангеля оставался географической загадкой. А. Соколов рассказывает занимательную историю этого таинственного острова, почти затерянного среди вечных льдов и блуждающих айсбергов.

Тэйлор М. — В стране папуасов. Перевод И. А. Биншток, предисловие Е. Каяндер. С 47 иллюстр.

238 стр. Ц. 1 р. 45 коп.

Рассказывая о своем походе в глубину страны, Тэйлор дает описание всего, что он встречал на своем пути: путь его пролегал через девственные леса, необычайно богатые растительностью, населенные пестрым, шумным разнообразным миром зверей и птиц и так называемыми „дикарями“, на самом деле стоящими на довольно высокой культурной ступени.

ЗАКАЗЫ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ

по адресу: Москва, Центр, Новая площадь, дом № 6, Издательству „Молодая Гвардия“ или его отделением.

Не забудь прочитать!

Книжка, которую ты прочитал, написана для тебя. Понятно ли в ней изложено все, что ты хотел узнать? Все ли в ней сказано или, по твоему мнению, не хватает чего-либо? Прочитав эту книжку, ты, может быть, решил, что сам написал бы лучше, понятнее, полнее?

Если ты обо всем этом нам напишешь, мы учтем все твои указания и пожелания.

Воспользуйся для этого нижепомещенным вопросником, запомни его, вырежь и отправь по адресу, указанному на обороте.

Автор и название книги:

1. Мне понравилось в этой книжке:

2. Мне не понравилось в этой книжке:

3. Непонятно изложено:

4. Мало сказано:

5. Почему не издаются книжки по вопросам:

Подпись

Адрес:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО



МОСКВА, Центр,

Новая площадь, дом № 6

Издательству „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“

Бюро пропаганды книги

